

ISSN 0012-6756



**Дружба
народов**

9/2023

Провинция: точки роста



ПРОВИНЦИЯ: ТОЧКИ РОСТА

Забирающий боль

«... Он, не оборачиваясь от окна, тихо заговорил о... Чехове, повести "Моя жизнь"... "Да, иду сегодня на конкурс красоты, и должен тебе признаться — ты самая красивая женщина не только в нашем захолустье, а на всю Россию одна такая, я это знал всегда... Ты помнишь, моя девочка, как тогда, в Корфе, ты жарила яичницу и поняла, что беременна? Мне больно думать, что ему было бы уже шесть лет... Прости ты меня, наконец". Он смотрел на меня ещё нетрезвыми мокрыми глазами, а я думала: "Гореть нам с тобой ваду, милый..."»
Прозаику из Петропавловска-Камчатского Владимиру ЛИМУ каким-то удивительным образом удается вместить в рамки приключенческого романа философский разговор о жизни женщины после убийства нерожденного ребенка, о невозможности искупить этот грех и вымолить себе прощение.

«Отечества седьмое небо»

«Воздух провинции утлый и ножевой/ колется больно над омском да над надымом...» — «А кто и откуда... Без разницы. Хоть Ереван,/ хоть Ёбург. Везде одинаково...» — «Пусть читают армяне, евреи,/ Депутаты, бомжи, лиходеи/ Эти дактили, эти хорей...» — делятся открытиями, констатируют и спорят поэты: Дмитрий РУМЯНЦЕВ из Омска, Денис КОЛЧИН из Екатеринбурга, Дмитрий ВИЛКОВ и Евгений ЭРАСТОВ из Нижнего Новгорода, Ольга ШИЛОВА из Мещовска. Поэты из провинции — это совсем не то, что провинциальные поэты, и у каждого из них свои отношения с «местом жительства», временем и пространством.

Престижно, модно, интересно

В последние годы в культурной жизни страны мощно заявил о себе Фестиваль театров малых городов. Премии, внимание критики, столичные гастроли... О двадцатилетней истории фестиваля, его творческих задачах и проблемах, о режиссёрах, актёрах и зрителях ведущий рубрики «Правила игры» Борис МИНАЕВ беседует с театральным критиком Олегом ЛОЕВСКИМ.

«Потому и тянет их в наш городок...»

«... Мне близки люди окраин, посёлков, законсервированные, замороженные во времени, своём мирке...» — «И Сан-Марко, и Плотина созданы не для обыденности, а чтобы красотой и мощью выталкивать из нее...» — «В деревенской жизни есть моменты, когда просто необходимо садиться в машину и ехать за сто двадцать километров в театр...» Участники заочного «круглого стола» — писатели, живущие в «нестоличной» России, — рассказывают о своих местах силы и гениях этих мест.

Символика пространства

Размышляя о смыслах провинции и провинциальности на материале современной словесности, Ольга БАЛЛА приходит к убеждению: «У нас в центрах — история, у них — метафизика. И чем глубже провинция — тем ближе она к вечности».

От Сибирского тракта на север

Написанные в жанре путевых историй главы из книги Андрея ПЕРМЯКОВА «Сибирский тракт и другие дороги» интересны не только обширной географией, историко-культурными отступлениями, но и судьбами знаменитых соотечественников и просто случайных попутчиков писателя.

Дружба народов



9'2023

*Независимый
литературно-художественный
и общественно-политический журнал*

*Основан
в марте 1939 года*

Редакционная коллегия

Адрес редакции:
117218, Москва,
ул. Кржижановского, д. 13, стр. 2,
журнал «Дружба народов»
Телефон (многоканальный):
8-499-519-02-12

E-mail: dn52@mail.ru,
Сайт журнала:
<http://дружбанародов.com>

Юридическая поддержка:
Congress Consulting.
Свидетельство о регистрации
№ 73 от 14.09.1990 г.
в Министерстве печати
и массовой информации РСФСР.
Свидетельство о регистрации
товарного знака № 288681.
Зарегистрировано в
Государственном реестре
товарных знаков и знаков
обслуживания РФ
12 мая 2005 г.

Отпечатано с готовых файлов заказчика
в АО «Первая образцовая типография»,
филиал «УЛЬЯНОВСКИЙ ДОМ ПЕЧАТИ»;
432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14

**Редакция не имеет возможности
рецензировать и возвращать
рукописи.**

**Во всех случаях полиграфического
брака в экземплярах журнала
обращаться в типографию, указанную
в выходных сведениях.**

**При перепечатке наших материалов
ссылка на журнал «Дружба народов»
обязательна.**

Сдано в набор 20.07.2023.
Подписано в печать 22.08.2023.
Формат бумаги 70 x 108 ¹/₁₆
Печать офсетная.
Усл.-печ. л. 22,4. Усл. кр.-отт. 23,1.
Уч.-изд. л. 21. Тираж 1200 экз.
Заказ . Цена свободная.

Главный редактор Сергей
НАДЕЕВ
Леонид
БАХНОВ
Ирина
ДОРОНИНА

Ответственный секретарь Елена
ЖИРНОВА

Первый заместитель главного редактора Наталья
ИГРУНОВА

Галина
КЛИМОВА
Владимир
МЕДВЕДЕВ

Заместитель главного редактора Александр
СНЕГИРЁВ

Редакционный совет

Мария
АНУФРИЕВА
Сухбат
АФЛАТУНИ
Муса
АХМАДОВ
Ольга
БАЛЛА
Дмитрий
БИРМАН
Ольга
БРЕЙНИНГЕР
Денис
ГУЦКО
Фарид
НАГИМ
Илья
ОДЕГОВ
Валерия
ПУСТОВАЯ
Сергей
ФИЛАТОВ
Ренат
ХАРИС
Александр
ЧАНЦЕВ
ЭЛЬЧИН



СОДЕРЖАНИЕ

ПРОВИНЦИЯ: ТОЧКИ РОСТА

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Дмитрий РУМЯНЦЕВ. Отечества седьмое небо. <i>Стихи</i>	3
Владимир ЛИМ. <i>Пылающий. Роман</i>	7
Дмитрий ВИЛКОВ. <i>Голос — почти что поезд. Стихи</i>	118
Гюльназ ЛЕЖНЕВА. <i>Нэнэй. Повесть</i>	121
Ольга ШИЛОВА. <i>С миром накоротке. Стихи</i>	147
Олег РЯБОВ. <i>Культурные люди. Рассказы</i>	150
Дмитрий БИРМАН. <i>Три рассказа</i>	171
Денис КОЛЧИН. <i>Когда улитка на войне. Стихи</i>	180
Александр ПЯТКОВ. <i>Самое главное. Рассказы</i>	184
Мария ДАВЫДЕНКО. <i>Лесной Будда. Рассказ</i>	192
Евгений ЭРАСТОВ. <i>Быть со словом один на один. Стихи</i>	195

КРУГЛЫЙ СТОЛ

«Места силы и гении тамошних мест». В «круглом столе» участвуют: <i>Ксения АКСЁНОВА, Анатолий ВАЛЕВСКИЙ, Александр ГРИГОРЕНКО, Ольга КЛЮКИНА, Константин КОМАРОВ, Игорь КОРНИЕНКО, Илья КОЧЕРГИН, Яна-Мария КУРМАНГАЛИНА, Ната СУЧКОВА, Дарья СЕЛЮКОВА, Виктор ЧИГИР</i>	198
---	-----

МОЯ МАЛАЯ РОДИНА

Варвара ЗАБОРЦЕВА. <i>О реке Пинеге</i>	216
Ирина КРАЕВА. <i>...А Бог в тебя верит!</i>	226

ПРАВИЛА ИГРЫ

Борис МИНАЕВ. <i>«Театр — это дело абсолютно иррациональное»</i>	228
--	-----

БИБЛИОНАВТИКА

Ольга БАЛЛА. <i>Места, не-места, гиперместа. Конструируя провинциальное</i>	235
--	-----

ПОЭТ О ПОЭТЕ

Евгений ЧИГРИН. <i>По краям печали и земли. Вспоминая поэта Анатолия Кобенкова</i>	249
--	-----

КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

Вера КАЛМЫКОВА. <i>Творческие люди 24/7</i>	256
---	-----

ПУТЕВЫЕ ИСТОРИИ

Андрей ПЕРМЯКОВ. <i>Сибирский тракт и другие дороги. Главы из книги</i>	262
---	-----

Summary	272
----------------------	-----

Дмитрий Румянцев

Отечества седьмое небо

сонет о ночной печали

сердце болит — это значит ещё живой
мир несказанный тревожным саднит на(д)рывом
воздух провинции утлый и ножевой
колется больно над омском да над надымом
тягостно в лужах вечерних дрожит луна
сёстры — и тяжесть, и нежность — в душе навеки
боль одиночеств таится и не видна
но отражается в сгорбленном человеке
в сгубленной каждой, что песня, ночной судьбе
в каждой мелодии — в музыке воскрешённой
...звякнешь ключом и, вернувшись домой к себе,
ходишь и ходишь кунсткамерой душных комнат
в смуте духовной по краешку — не в себе,
выйдя из тела, весь космос собой заполня

* * *

есть чудный миг в цветении садов —
забвения причин ночного страха:
когда другую птицу ищет птаха
а лось трубит лосихе про любовь
и так же рыба осенью идёт
забыв про смерть, в высоководный нерест
и человек — я искренне надеюсь —
в такой же миг цветы несёт
любимой в неземные времена
земной весны — её многоголосья —
в нём всё от рыбы, птицы или лося
и жизнь одна

Румянцев Дмитрий Анатольевич — поэт. Родился в Омске в 1974 году. Окончил философский факультет Омского педуниверситета по специальности культурология. Автор книг стихов «Сравнительное жизнеописание» (Омск, 2011), «Нобелевский тупик» (Омск, 2011), «Страдающее животное» (Омск, 2013). Живёт в Омске.
Предыдущая публикация в «ДН» — 2022, № 8.

написана в бестрепетных зрачках
и он в себе не замечает труса
в нём всё от будды, зороастра, иисуса
на облаках

(нет рыбака, нет волка или гнуса)
и нет того, что низко или гнусно
и лунный нимб сияет в волосах
и солнце отражённое в нём густо

сердце-мотор

над веной реки — механический птах
и клапаны ходят, как крылья
в закатных ветрах распрямляет размах
летанья литое усилие
над полюсом чувств совершает полёт
моторы надрывно чихают
ведёт над снегами к тебе самолёт
сердечный чкалов

творчество

я пел от полноты души и сердца
так леонардо рисовал у сфорца
так часто красит в полуночном скерцо
луна обрывки туч по воле солнца
я пел. ночь пеленая, волны пели
податливо-тревожные, морские
как будто это можно в самом деле
чтоб ангел надиктовывал стихии
молитву. лишь какая-то мансарда
художнически-внятно пустовала
что сердце без любви, как ложи зала
в преддверьи перголези и моцарта
я знал, что нет ни меры, ни итога
словам, но только выверенность речи
а строки на манер мартиролога
печалились и зажигали свечи
свет — плоть и кровь канцоны бесконечной

капитанская дочка

Подмётные письма с дубов кидает Хлопуша-ветер.
Октябрь — Емельян Пугачёв, и в небе противных повесил.
Летят за студёный Яик осинки казачьей лавой,
и где отыскать язык, чтоб выдержать эти забавы.
Берёзы седой генерал поправил свои аксельбанты,
но ~~изверг~~ холод опять приказал дождём расстрелять коменданта.
Река под быками мостов прерывисто, спутанно дышит.
И где тот мальчишка-Гринёв, который всё это опишет.
Суровый Суворов зимы палит мокрым снегом по крышам.

дон гуан

пушкин мраморный, краугольный —
вечный каменный гость слов-янства...
раб чернил, раб лампы
настольной
я по капле выдавливал рабство
лир, коня-бегунка — курсора
я не ведал пегасовой прыги
я хотел в безызвестность выйти
ощущая шаги командора
трепетал от щедрот вдохновенья
при одном твоём появлении
нет, ко мне не уйдёт, шалея,
донна муза, весёлый гений!
так счастливо тебе оставаться,
царь зверей, на словесной опушке,
царь царей, языков славянских
стихотворства любовник
законник — пушкин!

мелодия

запах елей — всё тот же елей
вся природа, что храм опустелый
у алтарных альковов аллея
так тихи и туманны приделы
и луны серебристый киот
перед звёздными чудо-очами
тёмных ликов ночных восстаёт
без обиды, без зла, без печали
хорошо в этот час одному
по тропинке к Тебе устремиться
как случилось в противность уму
от взаимности сердцу забиться
вышло небу слегка накрениться
словно чёрному морю в крыму

Эскиз

любить один лишь раз, но — насмерть
всего лишь раз — найтись — на жизнь
сквозь временные миражи
бежать по выжженному насту
в снегу горячем по реке
по льду печали, как по водам
в небесно-новую природу
как под присягою — под Богом
рука в руке
(как в первый раз — темно и долго —
целуются на чердаке)

пастораль. сонет

уже сентябрь у лета в волосах. уже редет парков шевелюра
а звёзды — диаманты ювелира на крупных небесах
и полночь с ржавой лунною косой устроила поминки урожаю
когда, остатки топлива сжигая, осенний лист садится в травостой
как этажерка (тот аэроплан, что, просияв кружением в лазури,
спускается уже в литературе). туманы-метроманы курят план
по буеракам. воздух прел, медвян

иду к тебе. и вечность глубока. печаль смывает дождь с лица навеки
я растворился в близком человеке: и ты одна теперь — моя строка
и рифма. в этом рыжем сентябре вершитель-ветер-виршеплёт рифмует
нас, и туман от нежности кайфует, когда по парку ты идёшь ко мне
когда в твоей руке — кленовый лист — моя ладонь, что дал тебе навечно
над речкой — над обрывом, как над речью, мы в отгремевшем августе сошлись
и осени эстетская эклога даёт всерьёз поверить в рифмы Бога

село горьковское

и грива ковыля, что конный большевик,
всё скачет сквозь рабочий муравейник,
когда в ограду лезет борщевик,
в рукав, как друг, вцепляется репейник,
а ЛЭП гугнивым оводом гудит
над тропкой, тропарём призвав Бориса, Глеба,
и до восьми смеркается в груди
Отечества седьмое небо...

Владимир Лим

Пылающий

Роман

Глава первая

1

За окнами палаты, знаю я, далеко внизу — бронзовеющие шатры клёнов, над ними — пылающие желтизной свечи белоствольных берёз. Но листва ещё крепко держится в кронах, лишь иногда слетит с ветки бабочкой ранний гонец осени.

Они думают — я ничего не вижу и не чувствую.

И не знают о приступах боли, от которой хочется умереть.

Боль в левой ноге начинается как слабое подёргивание — от щиколотки до колена — и затрагивает только поверхность кожи, затем боль уходит глубже и одновременно поднимается к бедру, начинает пульсировать, углубляться, становится режущей и, наконец, захватывает всю меня. И хотя я знаю, что она только там, в нервных стволах конечности, рвущая, растущая, пламя боли взрывает тело и терзает, как голодный хищник, несколько мучительных часов, потом затихает, спускается до щиколотки и замирает крохотным мурлыкающим зверьком до следующего приступа.

Но прежде, чем боль сократится до нежного белого котёнка, приходит малыш, Серафим, берёт меня за руку, усмиряя это злобное пламя, и мы идём через сквер, через Севастопольский проспект — в парк, заросший непроходимыми кустами, перевитыми колючими плетями ежевики. Малыш выбирает одичавшую сырую тропку, ведущую к ручейку. Мы перешагиваем через него, держась за поникшие космы берёзы, идём вверх по склону, сухому и тёплому, свободному от кустарника, вверх и вверх — под белые клубящиеся облака и летящие голубые просветы.

И вот перед нами, за Кольцевой, за по-змеиному скользящими автомобилями прячется в тёмном вечнозелёном сосновом бору не мрачная крепость ГРУ и не ледяная глыба «Газпрома», а широкий, кудрявый от белого клевера луг с плоским зеркальцем пруда и поселением в две полуживые улицы на краю, с отремонтированной церковью и восстановленной тонкой колокольней.

Мы идём вдоль пруда, заглядывая в чайного цвета воду. «Там окуни и караси», — говорит Серафим.

Лим Владимир Ильич — прозаик, журналист, окончил Литературный институт (семинар Ю.В.Трифоновой), работал в «Комсомольской правде». Автор книги «Горсть океана» (2016). Живёт в Петропавловске-Камчатском.

Предыдущая публикация в «Дружбе народов» — роман «Цунами» (2022, № 1).

Подходим к старому осевшему дому, сложенному из брёвен, с серыми, облупившимися от дождей и солнца резными наличниками, старик приподнимается навстречу со скамеечки, опираясь на палку, зажатую меж длинных сухих ног. «Дед, — говорит ему малыш, — идём карасей ловить!» «Иди, ангелочек, я отсюда погляжу!» — с приветливой улыбкой отвечает старик.

Мы поднимаемся по высокому крыльцу с подгнившей нижней ступенькой, нащупываем в тёмных после яркого утреннего света сенях старую бамбуковую удочку и идём в яблоневый сад — копать червей под кучей старого перепревшего навоза.

Из сада, за чёрными кривыми жердями изгороди, открывается вид на опоясывающий домики луг, за ним узкая полоска, знаю я, мёртвой, в пене, реки и недоступный противоположный высокий берег со светлым сквозным сосновым лесом и просторным, до самого горизонта, пшеничным полем.

Входит врач, с преувеличенным оживлением здоровается и говорит мягко, не торопясь:

— Интересный случай! Женщина на пятом месяце беременности, в коме. Отравление ядом неустановленного животного. Никаких повреждений, ни внешних, ни внутренних, не выявлено, кроме следов укуса на левой щиколотке. Ни на что не реагирует, кроме, внимание, детского голоса!

— Жаль, и какая красавица! — отвечает густой, низкий, с профессорскими нотками мужской голос.

Мне приятно это слышать, — значит, я для них не просто тело, инкубатор, в котором живёт и развивается ребёнок, а всё ещё женщина, человек.

После обхода придёт Ёся, Иосиф, я вижу: он проезжает сейчас крутой, как грыжа, поворот на Подольск, едет по старому, в две полосы, Калужскому шоссе на нашем чёрном новеньком «субарике», проскакивает широкий многорядный мост через Десну и встаёт в хвост длинной, от самой новой Москвы, бесконечной змеи автомобилей. Опускает стекло, просунув наружу загорелую кисть с дымящей сигаретой, медленно, толчками, проползает мимо «Газпрома», ГРУ, съезжает с кольца на Ясенево, до Профсоюзной...

Он входит в палату, заперев меня густым свежим ароматом Кензо, садится напротив, берёт за пальцы, перебирает, кладёт руку на мой живот, уже заметный, твёрдый. Я чувствую, как замирает, радуясь ему, ребёнок в чреве.

2

Хожу по дому и вижу в окнах — наискосок, в конце улицы, перед лугом — сидит старик. Хожу и как-то тревожно чувствую себя, не оттого, что не привыкла к этому купленному Иосифом дому, не от одиночества, не от скуки, не от постоянной почти тошноты. Хожу по пустому, чужому ещё дому кругами, как ленивая рыжая кошка. Непокойно и постоянно хочется есть.

Чувствую, поглупела, подурнела.

Так хочется, чтобы был сын, умный, талантливый сын. Пусть то, что есть во мне, возродится в нём. Не может быть, чтобы моё страдание, моя боль не передались ему.

Иосиф верит в меня, любит мои стихи, которые я иногда печатала в газете. Но я знаю, знаю всегда, когда одна: нет ничего особенного во мне. И ведь какая горечь, какая несправедливость — чувствую, понимаю, переживаю чужие стихи, а сама пишу — плохие; так страдала, так понимаю людей, плачу от красоты, но почему же нет в моих строках того, что есть в моей душе?

Ёся верит в меня, вот и отпуск прервал, вернулся в море, ему нужны деньги, чего-то там не хватило, чтобы «создать для меня условия».

Никогда мне не было так тяжело от своей бездарности.

Деньги на жизнь я способна заработать сама — и как собственник медиахолдинга, оставленного мне Елисеем, и как редактор регионального приложения в «Комсомольце», но Ёся считает своей обязанностью «содержать семью», хочет купить квартиру в Москве, а дом оставить под дачу...

С Елисеем мне было легче, я любила и люблю его до сих пор. Ему обязана своей первой любовью, своей профессией: ведь это он привёл меня в газету и на ТВ. Но никогда, ни единой минуты он не заблуждался, всегда говорил: ты просто красивая умная баба, въедливый журналист, какой из тебя поэт?

Сначала это было мукой, почти ненавидела его, было жаль себя, больно от его нелюбви ко мне, потом привыкла к его насмешкам или, как он говорил, «хёхам». Ему нравилось рассказывать эти хохмы в моём присутствии малознакомым людям. Он обнимал меня за плечи, нежно и ласково, и говорил: «Слышали хёхму?» Он произносил именно «хёхму», немного в нос, с ласковой улыбкой, и все воспринимали «хёхму» как выдумку, анекдот. И оттого, что он при этом обнимал меня, смотрел ободряюще, всем казалось, что он любит меня и рассказывает хохмы обо мне с любовью, и я видела, что все с удовольствием смотрят на нас, и эти взгляды каким-то образом действовали на меня, я тушевалась и тоже начинала смеяться над собой, своими стихами, мечтами, — как будто я была с ним заодно. Но потом, когда представление заканчивалось и мы оставались вдвоём, я прозревала и понимала, что всё это жестоко, зло, что меня заставили смеяться над собой, над своими мечтами о поэзии.

Жестокость Елисея была сознательной. Многого ему не нравилось во мне: простота, некрасивые пальцы, сентиментальность, но больше всего, чувствовала я, он почему-то не любил моего увлечения стихами. Он считал это увлечение ошибкой и фальшью. «Да они больные все, закомплексованные, а ты — здоровая баба, зачем это тебе?» Никогда не уличала его в жестокости, хотя чувствовала часто какое-то мрачное напряжение в нём, сопротивление — всё, чтобы я ни делала, он принимал с раздражением, и иногда я ловила на себе его странный взгляд: он будто бы наблюдал за мной, чему-то удивляясь. В этом взгляде, в этом удивлении для меня всякий раз открывалась надежда, я ему всё прощала — жестокость тоже, хотя и не понимала её.

Он не мог не знать, что это от любви к нему и от его нелюбви ко мне я стала писать стихи. Но он не мог, не хотел признавать этого, потому что все эти несколько лет лепил из меня ту, какой хотел видеть, а стихи — это было лишнее, не его.

И когда я уходила от него, всегда рано утром, чтобы соседи не заметили, ведь Елисей был женат, жена с сыном жили в Москве в его двухкомнатной квартире, кралась униженно по лестнице, чувствуя отвращение к себе: именно там, на лестнице, помня ещё Елисея, большого, раскинувшегося на постели, с торчащими из-под одеяла большими ступнями, я думала о его жене, приёмном сыне; там, на лестнице, я чувствовала, как никогда, что краду Елисея у них, и обещала им не приходить больше сюда.

В редакции я часто бывала рассеянна, за эту рассеянность меня недолюбливали, считали её позой, актёрством. А рассеянность происходила оттого, что я задумывалась о Елисее, страдала от его нелюбви, и днём, на работе, боролась с желанием пойти к нему, и часто эта борьба заканчивалась тем, что я шла к его кабинету, шла, не осознавая и как-то неожиданно для себя: вдруг передо мной оказывалась его дверь, я машинально толкала её и, если встречала кого-нибудь, терялась, извинялась, оправдывалась, краснела и, отступая, с ужасом понимала, что за это меня не только нельзя любить, но нужно ненавидеть. Я никому из наших, в редакции, не могла рассказать о Елисее, потому что он считал нужным скрывать наши отношения.

В редакции Елисей был ласков и доброжелателен, но так, что я всегда ощущала это как преграду.

Я знала, что в газете многие тогда относились ко мне плохо, и Елисей поддерживал, непонятно для чего, их нелюбовь ко мне. Это было странно, ведь не мог же он не понимать разницы в своей нелюбви ко мне, близкому ему человеку, и в нелюбви посторонних, товарищей по работе.

Я часто ловила себя на том, что замираю от его прикосновений, боясь обернуться, изо всех сил заставляла себя не оборачиваться, мне казалось, он хочет ударить и не может, и если я обернусь, то увижу его лицо страшным, страшным именно желанием вложить в ласку всю силу удара, на какой способен крупный мужчина сорока лет.

Я всегда хотела уйти от Елисея, но не могла, и счастьем было бы стать его женой.

Хотела уйти, но всё же страшным был тот день, когда к Елисею приехала жена. Ведь я ещё не знала, что она приехала разводиться.

Насмешки Елисея возбуждали во мне какое-то упрямство, и чем больше их было, тем больше хотелось писать стихи и читать ему написанное. В этом упрямстве не было веры в талант, в предназначение быть поэтом, но в те минуты я чувствовала в себе непонятную силу.

Ёся же всегда верил в меня, и именно с ним я почувствовала своё стремление писать стихи как призвание, как зов, а не как необходимость утолить боль...

Больно: хочу говорить, захлёбываюсь словами, но — немая. Если напишется, то ужасное: о том унижении, о стыдном, — порву, а то и сожгу, и тот позор над лугом развею...

Ёся читает мои стихи, а у меня неотступное: обман, обман. Но чувство к нему потом — как любовь: обнять, приникнуть, благодарность такая, словно всё мне разом простилось. Как похоже: увидела жену Елисея, высокую и, кажется, красивую, испытала странное облегчение — ведь я лучше, ярче, красивее, наконец, в два раза моложе, и сразу чувство к ней, похожее на любовь. Слезы на глазах, отвернулась, ушла — жалость к ней, как к себе, такой родной она показалась, даже перепугалось, будто она — сестра, и вдруг что-то сломалось во мне, словно Елисей ещё тогда умер, задохнулся на пожаре в баре, и я это пережила.

Елисей ценил во мне только умение проникать во всевозможные сообщества, входить в доверие к людям, в том числе и опасным, благодаря своей эффектной внешности и простоте, как он говорил.

Я ничего не боялась, более того, я любила опасность, она увлекала меня, возбуждала упрямое желание дойти до конца, а Ёся моих статей не читал — ценил только стихи, мою душу.

3

Всё так же неподвижно сидит старик на высокой скамье и смотрит на луг.

Может, странность в том, что над лугом, дымкой — туман, проступают уходящие чёрные жерди изгороди, старик сидит неудобно прямо, картинно и неподвижно, и чувство такое, будто этому тысяча лет.

А может, странность в том, что старик — отец Елисея?

Ай, как трудно с Ёсей, сказала ему, как говорят то, о чём мечтают и чего не делают: увези меня, увези навсегда.

И он спросил, как я и хотела: куда?

Не думая, в мечтах о грустном красивом будущем, сказала: в Малоярославец.

Малоярославец был последним городком на пути южного отступления армии Наполеона, говорил Елисей, и это его родина — на костях семи тысяч французских солдат и стольких же — русских.

Ёся исчез на месяц, и я почти решила: если позовёт, прощусь, наконец, с прошлым, выйду за него, как он хотел.

И вот: приезжай.

Но в тот же день, с разницей в девять часов, звонок из Москвы, из клиники: нашли-таки сперму Елисея, которую он сдал ещё три года назад, перед самой смертью; какое счастье, что он сказал мне об этом по дороге в ЗАГС, но теперь я понимаю — это была просьба о *нашем* ребёнке, завещание... Да и регистрация брака — тоже, я это поняла только теперь, когда юрист клиники, позвонившая мне, сказала, что для юридического оформления ЭКО, кроме свидетельства о смерти донора, необходимо свидетельство о браке.

А я так жестоко кричала в пылу ссор и обид, что решусь на ЭКО только через его труп, и он не уставал напоминать мне в снах, что меня *услышали*, и теперь я должна исполнить своё страшное обещание.

Я все три года писала в Центр, четыре раза приезжала, сдавала анализы, последний раз два месяца назад, и всё за свой счёт, получила уклончивый ответ. Наконец, обратилась в местное, камчатское министерство за квотой, как научила в коридоре клиники то ли медсестра, то ли врач, почему-то сжалившаяся надо мной, хотела позже её отблагодарить, но так и не смогла найти, в три дня собрала подписи, используя своё служебное положение, и получила направление на бесплатное ЭКО, отослала вместе со справками и анализами, и вот — вызов. Не всё ещё в нашей стране решают деньги. Как мне сказала многострадальная соседка по палате, нужно правильно посылать сигналы в Космос. Вот я и послала через министерство, и всё сразу сошлось: нашлись образцы, и мой организм, оказывается, готов. И я могу исполнить данное Елисею обещание.

Эта новость заслонила всё, Ёся вместе с домом отодвинулся, вернулся в наше детство, его место занял Елисей; он вновь был со мной, хотел выпить, я не разрешала, потом он долго сидел на краю постели, со своей стороны, во сне я чувствовала его взгляд, а под утро — тихое прикосновение руки, от которого полетела в пропасть, вздрогнула и проснулась; и в самолёте он был рядом, но одновременно — ждал меня в Москве, и я летела на свидание с ним.

В клинике всё прояснилось, предъявили договор с Елисеем на моё имя, который вступил в силу три дня назад, 16 февраля 2014 года, и с этой даты я становилась правообладателем и могла распоряжаться его спермой. Почему он выбрал именно этот день для «свидания», почему не сказал мне о договоре, и почему наложил запрет на информацию о нём до вступления в силу, я не знаю.

Неужели это Саи Баба открыл ему время гибели?

Сначала это была острая, как игла, капля; или пустота в форме острия, но я чувствовала не её, а всё, что было вокруг неё, и, как продолжение, то, что было и вокруг меня: день или ночь, небо над московскими проспектами...

А потом я вдруг поняла, что не одна; я не почувствовала границы перехода, как если бы это произошло в длинном сне, — очнувшись, поняла, что-то со мной случилось, я ощущала себя как космическое множество миллиардов клеток, и среди них одна, дышащая в унисон, но отдельная, несущая другую вселенную...

Это был Елисей.

Я не могла осознать, как такое малое во мне может быть одновременно таким огромным.

Через неделю после того, как я перебралась из подмосковной студии-однушки в останкинскую клинику, Елисей вдруг исчез, оставив, как мне привиделось, кровоточащую пустоту. Я испугалась и побежала к доктору Ломоносову, он погладил свой голый большой крепкий череп и сказал дружелюбно, что на таком сроке я ничего чувствовать не могу, но через шесть дней, после обследования, он очень тихо, как будто не хотел, чтобы слышали длинноногие ухоженные медсёстры, без дела крутившиеся возле, сказал, что один эмбрион действительно погиб, но со вторым всё хорошо, и я могу, если захочу, даже лететь домой.

Врачи всегда подсаживают двоих, для страховки, и я, при благоприятном исходе, могла бы родить двойню. Из четырёх моих ооцитов-яйцеклеток, оплодотворённых спермой Елисея, выбрали три лучших — тип А1, «отличницы», как говорят доктора, две — мне, а одну я попросила заморозить, сама не знаю для чего, возможно, из подсознательного жадного стремления сохранить всё *наше*, и отправила в вечность наш эмбрион за шесть тысяч рублей в год, включая хранение.

Эмбрионы были замечательные, сказал доктор, «с равными бластомерами, без ануклеарных фрагментов», само совершенство, в родителей, без улыбки пошутил он, задержав на мне взгляд, но то, что при этом какой-то погиб, — обычное дело, мы не знаем, кому из них судьба жить, — как говорил великий однофамилец: «Тайна сия велика есть».

Доктор Ломоносов — интересный человек, я его сама выбрала посредником между мной и Космосом. Он отдалённо напоминал мне Елисея своей громадностью и одновременно — чувствительностью, а его высокопарно-насмешливая манера выражать свои мысли делала его комплименты приемлемыми: женщина, по его словам, избранное существо, так как способна к сотворению себе подобного, и тесная связь с Космосом делает, вероятно, некоторых восприимчивыми даже к микроскопическим явлениям и сигналам — вот такое объяснение он дал моему переживанию гибели яйцеклетки.

Я заметила — в клинике не было принято говорить «Бог», все — и врачи, и санитарки, и пациентки — говорили «Космос». И я так же, как и все в этом суперсовременном роботизированном биотехнологическом учреждении, прониклась пониманием, что от науки, техники и учёных в нашем деле зависит далеко не всё, и последнее животворящее слово всегда остаётся за Тем, Кого они просто называют Космос...

Все эти три года Елисей оставался для меня живым, как будто не на него надели купленную в дорогом бутике рубашку, а потом санитары подменили в морге на простую; как будто не для него я выбирала крепкий тяжёлый гроб с запорами, чтобы не скоро до него добрались черви, и не его закопали в лёгкую вулканическую землю, не над ним отлили широкую бетонную площадку, чтобы в нерыбный год не разорили могилу голодные медведи...

Все эти три года я ощущала его присутствие, его дыхание, просыпалась или оглядывалась от его явственного оклика. Возможно, потому, что смерть настигла Елисея не в свой срок, была случайностью, как гружёный самосвал, разметавший оживлённый перекрёсток. И вдруг здесь, в московской клинике, он умер во мне вместе с оплодотворённой яйцеклеткой.

Я больше ничего не чувствовала. И хотя почти убедила себя, что никто не умер, в глубине души знала, что потеряла Елисея во второй раз...

Кто же остался во мне? Избранник Космоса, состоящий из моей плоти и потому невидимый, неощутимый, с дремлющими генами Елисея?

Я чувствовала себя одинокой, покинутой.

Вся огромная часть моей жизни, состоявшая из трёх редакций, почти полусотни журналистов, операторов, пиарщиков и технического персонала, сузилась до телефонного общения с двумя подругами — директорами радиостанции и кабельного канала, неуступчивым редактором еженедельника и несколькими доверенными людьми; всё исчезло, потеряло значение и даже смысл.

А Ёся был недалеко, в Малоярославце, в двух с половиной часах езды на электричке.

И вот — яркая перспектива улицы, оттепель, пятна снега в канавах, хлопающая форточка на жёлтой веранде дома; там, за мутным пыльным стеклом, Ёся торопливо натягивает белую сорочку, подсунув руку, чтобы удержать форточку — от отчаянного,

острого звона упавшего стекла я невольно вздрагиваю, это с детства, мама была очень несдержанна, и когда я что-нибудь роняла, она охала пронзительно и кричала, я, ничего не понимая, пугалась этого крика, злого красивого лица её и бросалась к ней, ища спасения, как будто не она пугала меня своим внезапным отчуждающим гневом, — она всегда подчинялась этому моему невольному порыву и утешала, хотя и зло.

Теперь почти всегда звон бьющегося стекла или посуды вызывает у меня тревожное предчувствие.

Ёся увидел, заметил в своей растерянности мгновенную и мимолётную перемену во мне, и это его отрезвило; пытаюсь удержать на груди сорочку — полы её трепетали за спиной, как белые беспомощные крылья, — он шёл ко мне в неизменных джинсах и каких-то коротко обрезанных серых катанках.

Я всё рассказала ему, с подробностями, не жалея, употребив, наконец, два слова, которые так и рвались из меня: «сперма Елисея».

Он слушал, склонив голову набок, как весёлый породистый щенок, готовый с лаем умчаться прочь по своим делам. По его лицу, сменяя друг друга, побежали лёгкой тенью выражение удивления, сочувствия и... нетерпения, наконец, после очередного «сперма Елисея» он просунул мне под волосы руку, прижал тёплую ладонь к затылку и сказал:

— Теперь ты просто обязана выйти за меня, ребёнку нужен отец!

Я закрыла рот и просто обняла его.

Стала чувствовать себя как-то странно, сейчас я к этому привыкла, но тогда, осознав впервые, даже испугалась, — то был суеверный и бессильный страх. И дело не в начавшейся беременности, это лишь совпадение: признаков беременности — тошноты, головокружения, звона в ушах, неудержимого животного аппетита — и ощущения неизбежности всего происходящего.

Чувство такое, будто всё стремительно и неотвратно меняется вокруг — столкнули в пропасть, и я лечу, и в то же время стою на краю, вижу, как лечу, такое раздвоение. Меня же тошнит, я ем жадно, много; сплю, всё время чего-то хочу — не дела, не книг, не стихов, а есть. И в то же время будто не меня тошнит, а другую, и за нею наблюдаю — с предубеждением, осуждая, не любя.

Стала обострённо чувствовать запахи, миллион оттенков, запахи преследуют, как будто вспоминаю постоянно; стала осязать кожей — тепло, холод и тысячу отличий между ними. Прикосновения — как удар, как грешное.

Что-то просыпается, раскрывается, как цветок, как ручной зверь, таившийся во мне, в светлой темнице долгие годы.

Иногда чувствую себя болезненно слабой, может, от его любви?

Хочу быть хорошей для него.

Так хорошо, и ничего нет, только свежесть пола, солнце в пустых ярких комнатах, чистое тепло с еле слышным запахом краски — тёплый праздничный запах новоселья. Когда иду коротким тёмным коридором, ногам становится холодно, но почувствую спиной тёплую руку Ёси — и всё хорошо.

В первый день мне не понравился вид из окна: там, в конце улицы, перед лугом был бревенчатый крепкий дом в ветхих резных наличниках, я подумала — чужой, и в окне чьё-то чужое неясное лицо, как тень прошлого. Потом из дома вышел старик и сел на высокую скамью.

Я встаю поздно и всегда вижу старика сидящим, и теперь мне кажется, что он никогда не покидает скамьи.

Чувствую, становится холодно спине там, где была тёплая рука Ёси. Я опять забыла о нём! Он улыбается, но странная у него улыбка сейчас; когда он так улыбается, мне делается грустно, я не понимаю, но чувствую что-то в ней — не плохое,

Дмитрий Вилков



Голос — почти что поезд

Тамань

Уже прочерчены дороги,
Пробиты в небе колеи.
Космические недотроги —
Кометы — жгут хвосты свои,
Касаясь жарких звёзд по-лисьи;
Планетам — взмах исподтишка...
Все смотрят: мы не добрались ли
(Мелькает белая рука)
До тонкого вселенной горла,
Горнила, где летят за край
Протуберанцы. Речь замёрзла.
Звучи, звучи, не умирай!..

Шумит космический сарай,
Сопит на берегу станица.
Нам кажется, Азов двоится...
Не повторяй, не повторяй!
Не повторяйся: жив Печорин,
Страницей канувший в ночи,
Когда разносится над морем:
Не умирай, звучи, звучи!
И в море, как частицы свьше,
Огни на рейде дышат, ждут,
Грохочет порт далёкий, слышишь,
И колеи туда ведут,

Дай только руку.

Вилков Дмитрий Владимирович — родился в 1986 году в городе Горький. Окончил в 2008 году филологический факультет Нижегородского педагогического университета и там же — аспирантуру. Преподаватель Нижегородского технического университета имени Р.Е.Алексеева. Стихи печатались в журналах «Нижний Новгород», «Знамя» и других, а также в сборниках «Поэзия: Новые имена» (фонд СЭИП, 2022), «Мир литературы. Новое поколение» (АСПИР, 2022). Участник Итоговой Мастерской АСПИР (2022). Живёт в Нижнем Новгороде.

В журнале «Дружба народов» публикуется впервые.

* * *

Мой отец в незапамятные времена писал стихи.
Нет, конечно, стихи — слишком громко сказано
Про те короткие, едва рифмованные строчки
(Выведенные далеко не каллиграфическим почерком)
С орфографическими,
Речевыми,
Грамматическими
И прочими ошибками,
И, в довершение всех несчастий,
Со смешными рисунками
На вольном пространстве полей
Общей тетради
В плотно-ребристом коричневом переплёте
(Таких теперь наша промышленность
Отчего-то не изготавливает).

Вряд ли попадут такие стихи
На современные страницы
Толстых литературных журналов,
Тонких сборников и альманахов.
Даже графоманские стихи.ру
Им противопоказаны.

Но именно те стихи,
Порой напоминающие колыбельные
(Некоторые и вправду были колыбельными),
Продолжают сниться мне и теперь.
Они всегда звучат отцовским голосом
В дверном проёме между прихожей и кухней
В квартире, которой уже нет.
А отец, не замечая этого,
Продолжает чтение
Вслух,
А я снова тянусь, пытаюсь
Увидеть, какие сокровища рассыпаны
За обложкой общей тетради
В коричневом переплёте...

Пожалуй, стихо-
Творение было не самым полезным даром
Для оператора дробемёта,
Для рабочего кораблестроительного завода,
Для моего отца,
Ведь в его руках рождались русские корабли,
Встречающие ныне
Стальными лицами
Слепящие ледовые
Поля Арктики,
Дымные миражи
Персидского залива...

А сегодня, по прошествии эпох, эр и эонов,
Подскочив среди ночи в кровати,
Словно пружинный колпачок авторучки,
Вывалившись из утробы сна
Во внешний мрак,
Я
(Невидимый, почти бесплотный)
Готов поклясться на собственной плоти,
Положив руку на рёбра:
Та тетрадь — во мне.
Эта тетрадь — я.
Во мне — я. Во мне — я. Во мне — я.

Немею.

Но я не могу молчать.

Голос пропал

Голос ушёл, как поезд, и ни к чему билеты,
Где-то он мчит в пространствах, в стоге из звёзд игла,
Тонет с яйцом и птицей на переправе Леты,
Прячущей отраженья: только что ты была.

Голос — почти что поезд. Только что он уехал,
Дверь запирая глухо, сдвинув души засов,
Но на краю вселенной всё же дробится эхо,
И отраженье бьётся в тысячах голосов.

* * *

Словами сердцу насладиться,
Напиться вдоволь не дано,
Но ты поёшь на ветке, птица.
И я молчу. Мы — заодно.

Поэзия в бетонной клетке
Оглохла с веком наравне,
Но птица голосит на ветке
И не даёт умолкнуть мне.

Гюльназ Лежнева



Нэнэй

Повесть

Глава 1, в которой мы знакомимся с Хусаиновой Айсылу и её семьёй

До распада СССР люди могли жить, где им хотелось, а тут должны были вспомнить — какая же у них национальность. Татарам теперь полагалось жить в Татарстане, казахам в Казахстане, украинцам на Украине, а башкирам в Башкирии. Люди бросали дома и ехали на родину. А кто не торопился, тем настойчиво напоминали, что давно пора бы уехать.

Хусаиновы¹ долго никуда не уезжали, они никак не могли выбрать, куда им отправиться. В Башкирию, где они родились, или в Татарстан, потому что они татары. Когда и Хусаиновым стали настойчиво напоминать, что давно пора уехать, они собрали-таки чемоданы, сели в скорый поезд и отправились в Уфу, потому что там их родина.

Папа и мама много лет не вспоминали, что они татары: зачем это советскому человеку? И теперь с интересом ворошили память. А вот детям Хусаиновых было неинтересно. Они только на днях узнали, кто такие эти татары. Папа уже в поезде научил их говорить по-татарски целых три слова, одно словосочетание и одно предложение.

Но когда тебе шесть лет и ты средний ребёнок между двух других детей, то и переезд, и татарские слова тебя не волнуют. Потому что у тебя и без того хватает недоразумений в жизни.

Вот про эти недоразумения и пойдёт речь в нашей с Айсылу² повести. Конечно, в жизни Айсылу случаются и приятные вещи, но недоразумений в ней всё-таки пока больше.

Её старшей сестре Алие³ на днях исполнилось тринадцать. Именно на неё возлагались все татарские надежды семьи. В неё спешно вкладывали обрывки татарской истории и разные татарские слова — все три слова и одно словосочетание помнила без запинки именно она. И сейчас, в пятом вагоне, папа рассказывал Алие легенду о последней царице Казанского ханства Сююмбике. Он сам прочёл её пару часов назад в журнале. Ещё утром этот журнал принадлежал другому пассажиру, но у папы было много туалетной бумаги, и они поменялись.

Лежнева Гюльназ Ханифовна — прозаик. Родилась в 1983 году в городе Стерлитамак (Республика Башкортостан). Окончила БФ БашГУ (бывший БирГСПА). Печаталась в журналах «Бельские просторы», Участница проектов АСПИР. В «Дружбе народов» публикуется впервые.

¹ Хусаин — позитивизм (*тюрк.*).

² Айсылу — девочка с луны (*тюрк.*).

³ Алиа — величие, интеллект (*тюрк.*).

Мама читала Азату¹ сказку. Ему три с половиной года, он любит, когда мама задаёт разные вопросы после сказки.

— На кого первого подумал щенок? — спрашивает мама Азата. — Как ему казалось, кто это сказал «мяу»?

Айсылу тоже любила, когда мама задавала ей такие вопросы, поэтому она быстро-быстро сказала:

— Петух! Первым был петух!!!

Но мама не похвалила Айсылу:

— Я знаю, что ты знаешь, дай сказать Азату.

— Хорошо, хорошо, буду молчать, — согласилась Айсылу.

— Ну, а кто же был потом? — снова спросила мама у Азата. Он радостно закричал:

— Кофка, кофка, кавала «мяу»!

— Да, щенок не знал, кто сказал, а ты знаешь. Но на кого же подумал щенок?

Вспомни, малыш.

— Мы... шка... — очень громко прошептала Айсылу.

— Айсылу! Неужели ты не можешь помолчать!?

— Не могу, мамочка, — честно призналась Айсылу. — Я просто лопну от слов, если не скажу их.

Мама предложила Айсылу правильные ответы шептать папе. Но это не сработало: папа не слушал. И тогда мама сказала:

— Айсылу, ты уже большая для таких книжек и для таких простых вопросов.

Айсылу вздохнула и стала слушать историю про Сююмбике.

Папа рассказывал, что непокорённая Сююмбике стояла на крыше минарета, волосы её развевались², а по щекам текли слёзы...

— Почему развевались волосы? — спросила Айсылу. Отец сам, чуть не плача от сочувствия к несчастной Сююмбике, рассеянно посмотрел на Айсылу:

— Наверное, из-за ветра! — сказал он.

— А почему она плакала? — снова спросила Айсылу.

— Ей предстояло умереть!

— Зачем?

— Ей не хотелось становиться женой Ивана Грозного! Кажется, это весомый повод плакать.

— Кто такой Иван Грозный?

— Ах, Айсылу, ты ещё слишком мала, чтобы понять такое! — сказал тогда папа.

Айсылу стала болтать ногами и думать, чем бы таким заняться, для чего она была бы не слишком маленькой и не очень большой. И придумала! Она соскочила с места и побежала в конец вагона, а оттуда обратно. Тут и Азат спрыгнул с полки и побежал за Айсылу.

Айсылу очень обрадовалась брату и стала ему объяснять, что ему делать.

— Я убегу в тот конец! Ты в другой! Обратно побежим навстречу друг другу и обнимемся!

Азат согласился. Они разбежались, а когда сбежались, то так столкнулись, что Азат упал на пол.

— Не так! Не так надо было! Здесь надо было остановиться! — кричала Айсылу на брата. Но Азат так горько плакал, что Айсылу стало его жалко. — Ну не плачь, братик!

На шум пришла мама и увела детей.

Азат успокоился. А когда дошёл до места, то схватил альбом Айсылу. Айсылу закричала:

— Это мой альбом!

— Айсылу! Не кричи! Тебе что, жалко альбома для брата? — отвлёкся папа от Сююмбике.

¹ Азат — свободный, независимый (*тюрк.*).

² Волосы Сююмбике не могли развиваться на ветру, так как татарки всегда ходят с покрытой головой.

— Это не твой альбом, а ваш общий! — сказала мама.

— Как это не мой? Вы же сами мне его вчера купили! — Айсылу выдернула у Азата альбом и забила в уголок. Тогда папа выдернул альбом у Айсылу и протянул его Азату.

— Приятно? — спросил он у Айсылу.

Айсылу взвыла на весь вагон:

— Это мой альбоооооооооо! Отдаааааай!!!!

Все тут же бросились её успокаивать:

— Я кому сказал, не вой! — кричал папа.

— Айсылу, успокойся, нас сейчас из поезда высадят, пешком придётся идти до Уфы, — шептала мама.

А успокоил Азат. Он подошёл к Айсылу, протянул альбом и обнял её, погрозив пальчиком папе:

— Не угай Сыу, она добая!

Слёзы мгновенно высохли. Айсылу с Азатом обнялись, как два связанных брёвнышка, и покатались по нижней полке. Они хохотали и катались, пока мама не сказала:

— Айсылу!!!! Перестань!!! Азат ударится о край стола!

Айсылу тут же выпустила брата, и он свалился, зацепив головой край стола. И снова плач на весь вагон.

— Как тебе не стыдно? — спросила мама.

— Я ведь говорил, что ты его ударишь! — сказал папа, хотя на самом деле он так не говорил.

Алия поглубже спрятала лицо в книгу, она думала, что если будет очень увлечённо читать, то другие пассажиры могут решить, что она не из этой семьи.

Айсылу же вырвала лист из альбома и отдала его Азату. Тот успокоился. Они разделили карандаши и стали рисовать непокорённую Сююмбике.

Глава 2, в которой Айсылу сначала потерялась, а потом нашлась

С вокзала Хусаиновым нужно было сесть на 101-й автобус, чтобы доехать до Южного автовокзала. Папа стоял на остановке, с ног до головы гружённый чемоданами и тюками. Мама крепко держала в одной руке сумочку с деньгами и документами, а второй крепко держала Азата. Алия должна была крепко держать за руку Айсылу и сумку с продуктами. Но Айсылу руку свою забрала и встала возле Азата и мамы.

Айсылу с Азатом, несмотря на шум вокзала, умудрились играть в слова.

— Давай называть слова на «к», — говорила Айсылу. — Курица, купе, клоун... Теперь ты?

— Ка-ка, мяу! — сказал Азат.

— Правильно, братик, — «какашка» и «кошка» на «к».

Подъехал автобус. Все бросились в него. Бросилась в него и Айсылу следом за сестрой, но у неё развязался шнурок на ботинке. Она наклонилась, засунула его поскорее в ботинок, а когда снова выпрямилась, то увидела два автобуса вместо одного. И в один, и во второй толпой загружались люди. Ни мамы, ни папы, ни Алии, ни Азата Айсылу не увидела. «Мама говорила, что нужен сто какой-то автобус. Этот — 101-й, а этот — 110-й. Точно, мама сказала 110-й!» И Айсылу стала пробиваться в 110-й автобус.

В автобусе она подходила к каждому, дёргала за рукав и с надеждой смотрела, не мама ли это? Не папа ли? Скоро все в автобусе поняли, что ребёнок потерялся. А потом это поняла и Айсылу. Она горько заплакала. Так что пассажиры поняли и ещё кое-что: нужно что-то делать.

— Как зовут тебя, девочка? — спросили у неё.

— Ай-сыыыы-луууу! — рыдала Айсылу.

В Башкирии татар было больше, чем где-либо, поэтому тут же нашёлся кто-то из них:

— Ничек ялгыз калдың, балам, энилэрең кая!¹

— Мин татарча белмим!² — сказала Айсылу то самое единственное предложение, которое знала.

— Куда же ты ехала? С кем? — снова спросили люди.

— К нэнэй ехала, с папой и мамооой!!!!

— А где живёт нэнэй³?

— Под высокой ёлкооооой!!!

— Ну, адрес-то, адрес у неё какой?

— Под Южным автовокзалом ...ик! — икнула Айсылу.

Пассажиры решили, что девочке нечего делать в аэропорту, куда шёл 110-й автобус, а лучше бы отдать её милиции. У ближайшей милицейской будки автобус остановился, и Айсылу высадили. Там её историю рассказали милиционеру, после чего пассажиры вернулись на свои места и двери автобуса захлопнулись.

— Ну, рассказывай, где живёт твоя нэнэй? — спросил милиционер.

— Я могу показать! — сказала Айсылу. Она уже поняла, что ответы «в доме под высокой ёлкой» и «около Южного автовокзала» никому не нравятся, и решила, что и сама прекрасно знает дорогу.

— М-да, ты покажешь... Что ж, сейчас мы поедем в управление, а там нам, глядишь, и выдадут машину, чтобы тебя отвезти к твоей нэнэй, — милиционер открыл дверцу машины, усадил Айсылу и сел сам.

В управлении потеряшку оставили одну в унылом конторском кабинете, где ей позволили печатать на настоящей пишущей машинке.

Прежде Айсылу никогда не видала такого чуда, и первые полчаса с удовольствием тыкала пальчиками в круглые клавиши с выдавленными на них буквами. С ещё большим удовольствием она разглядывала, как рычаг отпечатывал на листе чёрные блестящие буквы.

Потом ей это надоело, к тому же она вспомнила, что давно хочет есть. Но в кабинет, в котором она сидела, никто не приходил. Айсылу подождала немного, разглядывая разводы на белёном потолке. Потом встала на деревянные крашенные половицы и попрыгала на них, слушая скрип. Айсылу подождала ещё чуть-чуть, раскачиваясь на половицах. Потом подошла к окошку и легла на широкий подоконник, чтобы посмотреть, что там делается внизу.

Было уже совсем темно, на служебные машины накрапывал осенний дождик, капли сверкали, попадая в свет фонарей, и блестели на стёклах большого окна кабинета. Айсылу ещё подождала немного, разглядывая сползающие по стеклу дождевики.

Часы на стене проббили восемь раз, если бы Айсылу умела по стрелкам определять время, то она бы поняла, что с того момента, как они сошли с поезда, прошло два с лишним часа, но она не умела, а только хорошенько понимала, что хочет есть.

Айсылу подошла к двери и подождала там ещё чуть-чуть, потом взялась за ручку и высунула голову в коридор. Так она постояла ещё немного. Были слышны голоса в конце коридора, и Айсылу пошла туда.

Голоса доносились из другого кабинета. Айсылу заглянула в него, там сидел у телевизора толстый человек, смотрел футбол и ел. Он ничуть не удивился, увидев Айсылу, — пригласил её войти и даже угостил бутербродом со шпротами. Пока Айсылу жевала, зазвонил телефон. Человек поговорил по телефону, положил трубку, а потом сказал:

— Ну вот и автобус вернулся, сейчас тебя отвезут!

Тут же откуда ни возьмись появился милиционер, который Айсылу сюда привёз. Он взял её за руку и повёл на первый этаж к выходу:

— Ну, смотри, кроме как на тебя и твою память, рассчитывать не на что. Будешь показывать дорогу.

¹ Как ты осталась тут одна, деточка, где твои родители (*мам*).

² Я не говорю по-татарски (*мам*).

³ Нэнэй — производное от нэни — маленький. Одно из обращений к бабушке (*мам*).

Автобус доехал до Южного автовокзала. Айсылу хорошо помнила, что от него нужно было куда-то спуститься, а куда — она забыла. Не то чтобы она специально обманывала, просто Айсылу казалось, что если она скажет, что не знает, куда ехать, то проведёт всю жизнь в милицейской конторе и больше никогда не увидит маму.

— Ну, показывай, куда дальше? — спросил водитель у Айсылу на перекрёстке улиц Рихарде Зорге и Города Галле. Айсылу нерешительно ткнула пальчиком вправо, в сторону Госцирка, что было совершенно не в ту сторону, но водитель этого не знал, и они поехали направо.

Они ехали и ехали, пока милиционер, наконец, не сказал:

— Но здесь нет частных домов! Твоя нэнэй живёт в частном доме?

— Ага, — согласилась Айсылу.

— Стой! — сказал милиционер водителю. — Вспоминай, где здесь есть частные сектора?

Водитель задумался, а потом стукнул себя по лбу и совершенно счастливым голосом сказал:

— За Собачьей горой!

— Точно! — в один голос сказали милиционер и Айсылу. — Она вспомнила, что гору, на которой живёт нэнэй, называют Собачьей.

Они повернули обратно и поехали вниз по Затонскому Шоссе, объезжая Собачью гору. Но когда водитель заехал на улицу Саши Чекалина, то Айсылу сказала, что не узнаёт этих мест. Тогда они выехали оттуда и проехали весь частный сектор до самого моста, но и здесь Айсылу ничего не узнавала.

Автобус стоял и моргал фарами около остановки «Улица Речная». Грустил.

— Придётся возвращаться в управление, — устало сказал милиционер.

— Погоди, а может, это на самой горе? — вслух подумал водитель.

Автобус въехал на Собачью гору. Все молча смотрели в окна, вдруг Айсылу закричала:

— Здесь, здесь! Точно! Мы здесь с папой гуляли, сейчас нужно подняться наверх, и там высокая ёлка, а под ней наш дом! Я дальше сама дойду, спасибо!

Милиционер глянул на Айсылу сердито:

— Сиди уж! Сама она дойдёт! Я ещё с твоими родителями поговорю! Этот дом, что ли?

На краю Большой Гражданской улицы под огромной елью стоял маленький домик. Тот самый.

Ни звонка, ни собаки у ворот не было, а потому Айсылу и милиционер просто стояли перед глухими высокими воротами. Было непонятно, как зайти внутрь.

— Да как вы заходите-то к нэнэй своей, когда приезжаете из Казахстана?

— Камешек в окошко кидаем. Там, с другой стороны, — Айсылу махнула рукой в сторону фасада. Милиционер обошёл дом и бросил камешек в одно из окошек. Рама тут же распахнулась:

— Вам чего? — недовольно спросила нэнэй.

— Откройте дверь, я вашу Айсылу привёз.

Рама захлопнулась. Открылась калитка в воротах, а оттуда выглянула и сама нэнэй. Она без лишнего разговора завела внучку во двор и закрыла дверь. Она не любила милицию.

— Погодите-ка, погодите! Где родители девочки? — застучал милиционер по забору кулаком.

— У вас, в милиции. Сразу уехали к вам, Айсылу искать. Разминулись вы, поди.

— Ну это хорошо, тогда я с ними, может, и поговорю, — грустно сказал милиционер. — Одного ребёнка вдвоём доглядеть не смогли!

— Ой, и не говорите, — донёсся глухой голос нэнэй из сеней. Дверь захлопнулась за ними, и больше милиционер ничего не услышал.

Дома нэнэй раздела Айсылу и усадила за стол. Делала она всё это так, словно бы только вчера в последний раз видела свою Айсылу.

— Нэнэйка, а ты приготовила мне куклу в подарок?
 — Какую ещё куклу? — удивилась нэнэй.
 — Папа говорил, что ты мне подаришь куклу!
 — Где ж теперь денег на куклы взять? — сокрушённо пробормотала нэнэй. — Ну, ты поешь пока супу-то? А я сама тебе что-нибудь смастерю, лучше, чем из магазина будет!

Пока Айсылу ела суп, нэнэй мотала ей из лоскутов куклу.

— А как мне её назвать? — спросила Айсылу.

— Ну как-как? Как захочешь, так и назовёшь!

— Непременно нужно, чтобы имя было татарским, — заговорщицки сказала Айсылу.

Нэнэй улыбнулась:

— Назови её Фатиха¹!

— Фатиха? — переспросила Айсылу. Глаза у неё слипались, и рот почти не мог шевелиться. В конце концов Айсылу уронила голову на руку, прямо с супом во рту. Суп, конечно, вытек, но Айсылу так намаялась, что даже не пошевелилась из-за утекающего супа, так сильно ей хотелось спать.

Нэнэй отложила свою мотанку, подняла Айсылу со стула и отнесла в комнату на диван, где уже спали Алия с Азатом.

Глава 3, в которой мы узнаём, что за куклу подарила нэнэй Айсылу

Серая морось накрыла Уфу. Она заглядывала в окна маленького домика, стоявшего на самой окраине Большой Гражданской улицы, желая просочиться в комнаты. Но в комнатах горели яркие жёлтые лампочки, и места для серости там не нашлось. Нэнэй с Алиёй жарили чак-чак², а Айсылу с Азатом сидели возле АГВ и не отрываясь глядели на мерцающий голубой огонёк в малюсеньком окошке печки. Они жевали горячий чак-чак, который ещё даже и мёдом не успели обмазать, и вспоминали, как Азат утром свалился в лужу возле дома.

— Я тепей мокая вая ыба! — довольно сказал Азат.

— Мокрая злая рыба, потому что в лужу упал? — Айсылу рассмеялась.

— Да, я упал в узу, и я мокая вая ыба! — Азат тоже стал хохотать, и хохотал до тех пор, пока не поперхнулся крошкой чак-чака.

Мама и папа каждое утро уезжали в город — сначала искать работу, а потом работать. Им непременно хотелось быть частью татарского движения. В этом движении было очень много работы, беда в том, что у них было очень мало зарплаты. Папу взяли помощником главного редактора в газету «Татарские новости», а мама устроилась в воскресную школу учить детей их родному татарскому языку. Больно уж хорошо мама умела по-татарски говорить. В другие дни, кроме воскресенья, мама нанялась мыть пол в Аграрном университете — там-то уж точно платить обещали.

Моросящий дождь не прекращался, а серость над Уфой постепенно превратилась в густую темноту. Из этой мокрой и неуютной темноты скоро появились папа и мама, они прохрустели гравием на дорожке и со скрипом открыли дверь в сени. Отряхнулись там от дождя, поставили зонты сушиться и, наконец, вошли в тёплую и уютную кухню.

Азат швырнул чашку с чак-чаком на пол и побежал навстречу, он с головой выкупался в мокром мамином плаще и снова вспомнил о том, что он мокрая злая рыба. За ним подбежала обниматься и Айсылу:

— Я сейчас тоже стану мокрой злой рыбой! — смеялась она, но мама остановила её и сняла свой мокрый плащ. Мокрые злые рыбы для малышей, а Айсылу уже совсем большая.

¹ Благословение (*mat.*).

² Национальное татарское лакомство.

Нэнэй стала спешно накрывать на стол, так что мама с Алиёй не успевали ей помогать. Алия хотела нести чашки, но нэнэй их уже унесла на серебряном подносе. Мама хотела достать пакет с молоком из холодильника, но нэнэй, как оказалось, уже поставила его на свой поднос и отнесла. Мама хватилась суп разогреть, но тарелки с горячим супом уже дымились на столе. Тогда мама обречённо махнула рукой и села на диван у обеденного стола, но нэнэй тут же сказала:

— Иди-ка лука почисть, Мансур¹ суп без лука-то не ест, поди ты не знаешь?!

Мама искоса глянула на развалившегося на диване папу Мансура и пошла чистить лук. Наконец вся семья уселась за небольшим уютным нэнэйкиным столом.

Принялись за суп, а когда дошло до чая, папа сказал:

— В Черниковке открылась первая татарская гимназия, я уже договорился с директором. Алия! Ты будешь учиться в настоящей татарской гимназии! — папа обвёл домочадцев торжествующим взглядом. И Айсылу с завистью посмотрела на сестру, а мама с гордостью посмотрела на папу, и только нэнэй нарушила всеобщее восхищение:

— Как она туда добираться будет?! Совсем уже с ума сошли, — она недовольно покачала головой.

— А и вправду, как? — спохватились мама и Алия.

— С Южного автовокзала нужно будет сесть на трамвай и доехать до остановки «Парк Калинина». Там нужно будет сесть в троллейбус, а уж на нём прямо до гимназии № 65, — ответил довольный папа.

Нэнэй снова покачала головой, но на это никто не обратил внимания.

На следующее утро Алия поднялась в 5.30, а в 6.15 уже шла на Южный автовокзал. Потом ждала десятый трамвай, который бы довёз её до остановки «Парк Калинина». Там она, зевая и подпрыгивая от холода, ждала нужный троллейбус. Ноги у неё насквозь промокли в тонких ботинках.

Татарской гимназией эта школа стала совсем недавно, и от всех остальных школ отличалась только тем, что там были уроки татарского. А большинство учеников достались этой гимназии по наследству от прежней школы.

Алия сошла с троллейбуса и, хлюпя по лужам, побежала в школу. Там её встретил дежурный мальчик:

— Меня зовут Тимур, я тоже учусь в седьмом классе. Так что мы с тобой одноклассники.

И Тимур отвёл Алию в класс...

Но как мы помним, эта наша с Айсылу повесть вовсе не об уроках Алии, а поэтому оставим Алию в её новом классе и посмотрим, чем там занимается Айсылу.

А Айсылу играла с куклой, которую смастерила для неё нэнэй, — крошкой Фатихой. Азат ещё спал. Айсылу водила куклу по подоконнику взад-вперёд. Крошка Фатиха потерялась и пошла в милицию, чтобы ей там помогли найти дом под высокой ёлкой.

— Это не простая кукла! — сказала вдруг нэнэй, оторвавшись от недовязанного носка. — Она может исполнять желания.

— Правда-правда? — глаза у Айсылу от удивления и радости стали круглыми, как плоски. — Любые желания? Конфеты, куклы, паровая машина, киндер-сюрприз...

Но нэнэй оборвала её:

— Может быть, и конфеты может. Но разве о пустяках просят у волшебной куклы? Она может помочь тогда, когда больше никто помочь не сможет.

— А у тебя была такая в детстве?

— Была.

— И что ты просила у неё?

— Просила, чтобы она помогла нам вернуться домой, — ответила нэнэй.

— Откуда вернуться?

— А вот послушай, я тебе сейчас расскажу.

Нэнэй была младшим, девятым, ребёнком у своих родителей. Жили они в Кармаскалинском районе, в селе Липовка. В 1931 году всех, у кого на деревне была

¹ Мансур — осознанный (*турк.*).

скотина, стали раскулачивать. У нэнэйкиных папы и мамы были корова и лошадь. Скотину забрали, а всю семью посадили в товарный поезд, словно бы и сами они были только коровы и овцы. В поезде таких вот «кулаков» было много. Поезд помчался в Сибирь, высадил всех на голом месте и уехал дальше. Была зима, люди стояли посреди степи. Не было поблизости ни городов, ни деревень. Не было и еды, не было и тёплых шалей с валенками. И вот нэнэй просила у куколки, чтобы та помогла найти еду. Нэнэй уже и не вспомнила, когда и что им удалось поесть. Помнит, как рыли землянки на первое время, чтобы не замёрзнуть. «Кулаки» должны были отмечаться на станции, тут куколка и помогла. Нэнэй это знает, потому что отцу удалось договориться, и он всех детей и мать по одному отправил обратно в Башкирию. Правда, сам уехать не смог. Нэнэй его больше не видела.

А потом она просила у куклы, чтобы немцы не дошли до Башкирии, и ведь не дошли!

Нэнэй снова взялась за носок. Айсылу глядела на неё с открытым ртом.

— А потом? Что было потом с куклой?

— Да потеряла я её, балам, потеряла. Времена были такие, за куклой ли смотреть, — ответила нэнэй.

Айсылу впала в задумчивость.

— Значит, конфет ты у неё не просила никогда? — уточнила Айсылу.

— Нет, балам, не просила, не для пустяков она.

Айсылу отправилась будить Азата: она хотела поиграть в кулаков и Сибирь и ей нужен был напарник.

Напарник будился туго, а когда проснулся, ушёл завтракать и хихикать с нэнэй. Айсылу всё-таки дождалась его в комнате и тут же заставила рыть землянку. Сама она сделала поезд из перевёрнутых табуреток и, переполненная ужасом, спускалась из вагона прямо в степь. Азат не слушался, он ничего рыть не хотел, хотел быть машинистом.

— А ну, рой! Я кому говорю. Уф-фф, с тобой невозможно играть, дурацкий мальчишка!

— Сам дурацкий масиска! — возразил Азат. — Я поеду в поезде один, сам, уходи, дурацкий масиска!

— Никуда ты не поедешь! И я не мальчишка! Вылезь из моего поезда. Вот я тебе, противный мальчик! — Айсылу замахнулась на Азата кулаком и стукнула его по голове. Тот расплакался, пнул поезд, кинул в Айсылу попавшийся под ноги тапок и побежал к нэнэй.

А Айсылу стояла посреди комнаты и сжимала кулаки.

— Ох как я злюсь, как я злюсь! — сердито шептала она, потом тоже пнула поезд, и из него выпала крошка Фатиха. Айсылу брала её с собой в Сибирь. Она подняла куклу и сказала тихонько: — Хочу, чтобы у меня была подружка. Хорошая, которая умеет играть, как мне надо. Можно мне подружку?

Она долго и внимательно смотрела на Фатиху, но та своим видом ровным счётом ничего не выражала.

— Прямо сейчас!

Айсылу снова стала усаживать Фатиху в поезд, и тут взгляд её упал на окно, а в окне она увидела девочку лет пяти в голубой шапочке. Айсылу поцеловала Фатиху, схватила пальтишко и выбежала из дома, боясь, что девочка сейчас исчезнет. Но девочка так и стояла у окна в их дворе.

— Ты кто такая? — спросила Айсылу, запыхавшись от бега.

— Я Могжиза¹, — ответила та.

— А что ты делаешь у нас во дворе?

— Прошла через дырку, — Могжиза показала рукой на дыру в покосившемся заборе. — Я живу за забором.

¹ Та, что привиделась (*tatar.*).

— Это очень хорошо! — обрадовалась Айсылу. — Ты умеешь играть?

— Конечно, — с готовностью согласилась Могжиза.

Айсылу снова бросилась в дом, крича на бегу:

— Я сейчас, подожди немного.

Влетев на кухню, она спросила у нэнэй, можно ли Могжизе зайти к ним и поиграть с Айсылу. Нэнэй разрешила. И вот они уже строили новый поезд.

— Да не так надо! — поправила Айсылу вагон Могжизы. Могжиза промолчала. — Ну всё, теперь мы выходим из поезда, вокруг Сибирская степь, нам нужно рыть землянки, — сообщила Айсылу Могжизе. Та стала покорно рыть.

— А сейчас иди отмечаться на станцию, — велела Айсылу.

И Могжиза пошла к окну, будто бы там станция, но Айсылу сказала возмущённо:

— Ну куда ты идёшь!? Станция же не там, а вон там, где тумбочка!

Могжиза повернулась и пошла к тумбочке. А Айсылу подумала, что Могжиза скучная, хоть и послушная.

Потом они ещё долго играли, увозили по очереди все тапочки из Сибири, искали еду и мёрзли. Могжиза молчала и делала всё, о чём просила Айсылу.

— Теперь выкапывай корешки! — сказала Айсылу. Она уставилась на Могжизу, подперев подбородок кулачками.

— Вот, выкопала, — скучно сказала Могжиза и достала из-под понарошечной земли понарошечные корешки.

— Спасибо, — так же скучно ответила Айсылу, прислушиваясь, как хохочет Азат на кухне у нэнэй.

— Что теперь? — спросила Могжиза.

— Теперь ты можешь идти домой, — ответила Айсылу и пошла на кухню. Там она попросила чаю и села за стол, Могжиза тенью прошла за ней и застыла на пороге. Её заметил Азат:

— Пивееет! Идём пить сый! — позвал он её за стол. Тут Могжизу заметила и нэнэй, она налила ей полную чашку чая с молоком и усадила за стол. За столом Могжиза и Азат перемигивались и шептались о чём-то, чего Айсылу не могла расслышать. Да Айсылу и не пыталась, допив свой чай, она отправилась листать книги.

Но как же она удивилась, когда зашла в комнату, где недавно играла в сосланных кулаков, и увидела игру Азата с Могжизой.

Они весело чух-чухали на своём поезде, слезали на станциях, а потом снова шумно запрыгивали в вагоны. Азат, конечно же, был машинистом, а Могжиза делала что хотела. Например, брала и притворялась лисой, которая пробегает через железнодорожные пути, а машинист резко останавливает поезд и журит её. А лиса, представьте себе, зовёт машиниста в гости, в лес. И машинист идёт.

«Удивительно», — подумала Айсылу и притворилась медведем, который напал на машиниста. Когда машинист был низвержен на пол, медведь стал учить лису, как той надо дальше себя повести:

— Ну ты ж убегай, тебе же должно быть страшно! Ты же лиса!

Но лиса неожиданно взяла тапок и стукнула медведя по голове, потом помогла подняться машинисту и увела его во двор — гулять. Медведю ясно дали понять, что с ним играть никто не хочет.

Айсылу печально прижала к себе Фатиху и пошла на кухню к нэнэй.

— Можно мне научиться вязать, как ты? — спросила она.

И нэнэй дала ей спицы и клубок, а потом долго учила набирать петли. Айсылу пыталась над спицами, искоса поглядывая в окно, там играли Азат и Могжиза. Играли тихо-тихо, почти неслышно. Разве что иногда весело над чем-то смеялись.

Глава 4, в которой мы узнаём про «Тропиканку»

Однажды национальное движение приняло на вокзале вагон книг «На стыке континентов...» Поезд прибыл из Москвы, а в книгах была написана ранее неизвестная история татарского народа. Это было так прекрасно, правда, выгружать книги было некуда. И тогда папа с мамой предложили свою помощь в общем татарском деле.

И вот к дому на Большой Гражданской подъехал весёлый грузовик. И весёлые активисты весело превратили нэнэйкин дом в склад, заставленный книгами. А что? У нэнэй было мало мебели, а теперь стало очень даже семейно. Аккуратно связанные серые пачки смотрелись лучше обоев.

Когда все весело уехали из нэнэйкиного дома вместе с мамой и папой, нэнэй вдруг увидела таракана. Рыжего, усатого, огромного таракана!

— Пэрэмэч¹! Таракан! — вскрикнула нэнэй на весь дом.

Айсылу с Азатом как по команде бросили свои занятия и бросились к нэнэй:

— Где таракан??

— Тааакан!!!!!!!!!!!!

Около нэнэй они опустились на колени, но нэнэй уже прихлопнула его тапком.

— Котю тааакана! Не надо тапанцем!!! — заплакал Азат.

Но вдруг нэнэй обессиленно опустилась на стул:

— Алла сакласын!²

Азат и Айсылу посмотрели туда, куда смотрела нэнэй, там ровным строем шла цепь тараканов. Один за другим они выбирались из красивой серенькой упаковки с книгами и так же по очереди пропадали в щели между половицами.

Как бы ни хотел Азат таракана, но и он испугался. Он вцепился в локоть нэнэй.

— А тараканы не едят людей? — спросила Айсылу.

Когда последний таракан скрылся в щёлке, нэнэй вскочила на ноги, накинула на себя плащ и сказала:

— Посидите-ка одни минут двадцать. Я сейчас. — И убежала из дому.

— Тааакан, таакан, — запел Азат как ни в чём не бывало.

Их никто не съел. Нэнэй вернулась с упаковкой отравы «Машенька». Добела изрисовала им все углы и все серые упаковки.

— Нэнэй, откуда они взялись? — спросила Айсылу.

— Из Москвы приехали, надо полагать.

Вечером, когда все собрались за столом, нэнэй потребовала увезти отсюда эти книги, и тут повисла неловкая тишина.

— Понимаете, мама! — начал папа Мансур. — Мы эти книги купили!

Нэнэй всплеснула руками:

— Как купили? На какие деньги купили???

— Ну, мы как бы ещё не расплатились за них, мы в счёт зарплаты их купили.

— Зачем?!

— Ну как это «зачем»? Это же наша история, я хочу нести её людям и миру! И потом нам их продали дешёво, потому что много, а мы их будем продавать в три раза дороже! — торжествующе сказал папа.

— Кому вы будете их продавать?

— Как кому? Людям!

Нэнэй молча ушла на кухню всплакнуть. Остальные, так же молча, доедали кашу.

Когда нэнэй вернулась к столу, Азат размазывал кашу по клеёнке, но мама с папой не обращали на него внимания.

— Ты что делаешь, негодник! — погрозила ему нэнэй. — Я тебе!

¹ Пирожок; нэнэй употребляет это слово, чтобы не говорить нецензурного «баташ» (*татар*).

² Господи, помощи! (*татар*.)

— Ох, ну разве можно так с детьми, — очнулась вдруг мама. — С детьми нужно так же, как и с посторонними людьми. Вот Вы же постороннему человеку не скажете таких слов?

Нэнэй удивлённо посмотрела на сноху:

— Так посторонний человек и не будет, поди, мою кашу на моём же столе размазывать. А если будет, я его взашей выгоню!

Мама вздохнула, Азат подбежал к нэнэй, поймал её за руку и сказал торопливо:

— Нанай, я тя люлю, я тя люлю!

— Ох, спасибо, внучок, спасибо. И я тебя люблю! — она крепко поцеловала Азата в макушку.

Есть ей расхотелось.

Хоть зиму все и ждали с нетерпением, она всё же пришла незаметно, устроив на улицах страшную гололедицу с авариями и переломами.

Каждый вечер встречали Айсылу с нэнэй свою замороженную Алию. Ноги её подолгу оттаивали от мороза — за пару часов, что она добиралась из школы домой в промёрзшем трамвае, ноги превращались в лёд. Алия плакала от боли, а Айсылу тёрла их снегом, пока нэнэй подавала Алие чашку с горячим молоком. Азат сидел рядом и повторял без конца:

— Аия, я тя люлю, я тя люлю.

Несмотря на все страдания, Алия не жаловалась ни на что, и всё больше замыкалась в своём мире ледяных трамваев и татарских слов.

Татарские слова Алия ненавидела так же, как ненавидела зиму и трамвай...

Вначале она записалась в кружок народных танцев, собиралась сыграть мать Габдуллы Тукая¹ на уроке литературы. Но накануне отказалась от роли, а после отказалась и от танцев, и как её ни расспрашивали, не говорила, почему передумала. И в татарском языке Алия не продвигалась, что очень печалило папу и маму. Они хотели говорить с ней на равных и по-татарски, но она то ли не понимала, то ли понимать не хотела.

Мама грустила, что всё у Алии не так. Её грызла мысль, что она плохая мать, что с детства не научила детей родному языку. Но тут же вспоминала: садик был русский, школа русская, да и с татарами не общались... Но потом маму отвлекали каким-нибудь заданием из национального движения, и она забывала про Алию.

Канула в небытие треть зимы, и однажды в феврале случилось вот что. Утром нэнэй затеяла стряпать блялиши². Дети возились с тестом. На столе стояла стеклянная банка с подсолнечным маслом. Масла в ней оставалось совсем немного, и она пропускала сквозь себя солнечные лучи. Азат и Айсылу хотели взять один и тот же кусочек теста со стола, а так как это невозможно, стали тузить друг друга и отнимать.

— Ну сейчас, сейчас, — примирительно сказала нэнэй. — Ещё сделаем тесто, не деритесь только.

Нэнэй отвернулась к плите — перевернуть блялиши. Тут же Азат случайно ткнул локтем банку с маслом, отчего та свалилась со стола и разбилась вдребезги.

Нэнэй всплеснула руками!

— Аллах! Как же теперь жарить блялиши??? — Она посмотрела на Айсылу: — Одевайся! Беги в магазин! Помнишь, где он?

— Помню! — обрадовалась Айсылу и бросилась натягивать шапку с валенками. Нэнэй сунула ей в варежку деньги и прочла молитву Аллаху, чтобы всё с этим ребёнком было хорошо.

И ребёнок бросился в магазин. С важным видом Айсылу купила в супермаркете масло. Супермаркетов в Уфе было немного, а такой, как этот, и вовсе был один. С красивой оранжевой вывеской и самообслуживанием. Слово-то какое!

Айсылу вприпрыжку бежала домой, размахивая авоськой с маслом. Бежала мимо автовокзала и любовалась, как утреннее солнце разгорается в стёклах верхнего этажа. Это было так красиво, что она совсем не обратила внимание на Алию, стоявшую

¹ Известный татарский поэт.

² То же, что беляши.

у большого панорамного окна. Как это бывает, ты уже ушёл на несколько шагов вперёд, и мысли твои тебя всё несут, не останавливаясь, и вдруг! Ба, да там ведь стояла Алия! Айсылу попятилась на несколько шагов и снова увидела Алию у окна!

Она бросилась в здание автовокзала, взбежала по широкой лестнице на второй этаж. Там был просторный зал с мраморными полами и деревянными лавками вдоль стен — зал ожидания. В центре его с потолка свешивался гигантский телевизор, а под ним стояли ряды стульев.

У окна сидела Алия, уставившись в голубой экран.

— Алия! Алия! — закричала Айсылу на весь автовокзал. Алия вздрогнула, стала испуганно озираться. — Алия! Что ты тут делаешь? — шумела Айсылу.

— Не кричи! Тихо! — Алия подошла к сестрёнке. — Ты сама что тут делаешь? Одна?!

— За маслом ходила! — сказала Айсылу, приподнимая авоську с маслом, чтобы Алия могла её увидеть.

— Сядь, посиди со мной молча или уходи. Не мешай мне смотреть «Тропиканку».

Алия снова села на лавку и уставилась в телевизор. Айсылу удивлённо посмотрела туда же. Она помолчала, разглядывая, как разукрашенная женщина льёт слёзы под жалостливую музыку, а потом спросила некстати:

— Что такое «Тропиканка»?

— Сериал, — не глядя на неё, ответила Алия.

— А где твоя школа? Нэнэй говорила, что ты так рано встаёшь, потому что тебе нужно ехать в школу, но ведь автовокзал — это же не школа, правда?

Алия раздражённо покосилась на Айсылу:

— Ты можешь просто сесть и посмотреть со мной? Сейчас реклама будет, вот и спросишь! И вообще, фильм скоро закончится, мне потом негде будет эту серию посмотреть. «Тропиканку» же не весь день показывают! Дома телевизора нет...

Да, здесь у них телевизора не было, он остался в Казахстане. Айсылу села рядом и стала внимательно следить за событиями в сериале.

— Почему тётя называет папу — папой Гаспаром? — спросила Айсылу. Алия не ответила. — Почему этот дядя заставляет другого дядю? Это его сын? Кто такой «лангуст»? — вопросы, как мелкий горох, сыпались на Алию. Она очень сердито посмотрела на сестру, застегнула пуховик и натянула шапку, взяла Айсылу за руку и повела к выходу.

— А как же «Тропиканка»? И кто такой «лангуст»?

— Не знаю я, рыба, может, такая.

— Смотри-смотри, он взял ножницы!! Он отрежет штаны! — закричала Айсылу, упираясь ногами.

— Пусть режет, идём, кому говорю!

Они вышли на улицу. Было морозно. Сияло солнце. Алия и Айсылу зашагали к дому. Айсылу ничего не спрашивала, но Алия сама заговорила:

— Понимаешь, я лохушка! — сказала она Айсылу доверительно.

— Нет, не понимаю. Лохушка? Это от слова «лохань» или от слова «хушка»?

— Нет, это, скорее, от слова «неудачница».

— Это значит, что тебе не везёт?

— Ну да...

— А в чём тебе не везёт? В том, что «Тропиканку» не весь день показывают?

— Да нет, с этим-то мне как раз повезло, а вот со всем остальным не очень.

Айсылу посмотрела на Алию, пытаясь понять, что хочет сказать ей сестра. И вдруг она вспомнила свой главный вопрос:

— А почему ты не в школе?

— Я туда редко хожу, — сказала Алия безразлично. Она помолчала немного, а потом достала из сумки настоящий батончик сникерса.

— Где ты взяла?! — Айсылу уронила авоську с маслом на дорогу, глаза её загорелись.

— На дороге сэкономила две с половиной тысячи рублей и купила, мне нэнэй на всякий случай на маршрутку давала.

— Вот это да!!! А ты угостишь меня? — с сомнением спросила Айсылу.

— Если бы угощать не собиралась, то и не доставала бы при тебе.

И она разломила батончик примерно посередине, Айсылу откусила и закрыла глаза от удовольствия — солоноватый вкус карамели, нежный шоколад и большущие ядра арахиса... мmmm.

Как ни было ей вкусно, как ни хотелось проглотить всё за раз, Айсылу помнила про Азата и малюсенький кусочек завернула в рваную обёртку.

— Не надо нести Азату! — сказала Алия. — Меня нэнэй отругает за этот сникерс. Мне вообще домой идти нельзя, я должна вернуться только в пять вечера, не раньше. Ладно, отведу тебя и вернусь на автовокзал.

— Я не могу Азату не оставить! На меня же Аллах смотрит, он же видел, что я ела, а Азату не принесла. Харам!¹

— Какой же это грех!? Ты же ничего не украла!

— А разве Аллах не расскажет обо всём папе и нэнэй? — Айсылу решила, что шоколадку всё же снесёт Азату. Алия безнадежно махнула рукой, подняла её авоську, и они пошли дальше.

Возле дома Алия спряталась за деревом:

— Ну, иди, стучись, только о том, что меня видела — никому ни слова! Слышишь?

Тут к ним подошла Могжиза:

— А твоя нэнэй с Азатом ушли тебя искать! — сказала она Айсылу, и тут взгляд её упал на завернутый кусочек сникерса.

— Как ушли? — в голос спросили Айсылу с Алиёй.

— Да, сказали: «Что за ребёнок!» — и ушли. А ты сникерс ела, да?

— В какую сторону они ушли? — спросила Алия.

Могжиза махнула рукой в сторону автовокзала.

— Мой папа привёз десять таких коробок, — Могжиза показала руками внушительные размеры коробки. — Полные батончиков! Хотел торговать начать, там ещё и «Твиксы» были, «Марсы»...

— Правда?! — удивилась Айсылу.

Алия же металась около калитки, бормоча себе под нос: «Вот влипла-то! Как теперь уйдёшь?»

— Правда, — заверила Айсылу Могжиза. — Но мама торговать не дала, сказала, что убьют его за эти десять коробок...

— Так и сказала? — засомневалась Айсылу.

— Ага.

— Куда же вы дели своё богатство? — спросила Алия.

— Съели, — вздохнула Могжиза.

Пришлось им сесть рядком на скамеечке возле дома Могжизы, потому что около нэнэйкиного дома никакой скамеечки не было. Сидели они, пока не услышали, как гремят нэнэйкины ворота.

Дома обеим девочкам как следует попало от нэнэй, в том числе и за сникерс. Однако нэнэй не удивилась, узнав, что Алия прогуливает школу. Она усадила их за стол, налила чаю, поставила перед детьми остывшие бялиши.

— Рассказывай, почему «Тропиканка»? — спросила нэнэй и отвернулась к плите жарить последнюю партию уже растёкшихся по доске бялишей.

Алия начала мямлить, что ей там не нравится, что её обижают. А классная руководительница насмехается над ней из-за прогулов. Устала она ездить и мёрзнуть, а на автовокзале так тепло и «Тропиканку» показывают.

Алию как-то сразу не приняли в классе. Поначалу ей очень хотелось «обтатариться» как следует. Но после участия в народных танцах дети в классе стали смеяться

¹ Грех (*татар.*).

Ольга Шилова

С миром накоротке

* * *

Бог прозрачен, как воздух. Он — возДух и есть:
есть ли Он — это дело твоё.
И несхватываемость Его — это весть
о наполненности до краёв

Бытия, в коем места Ему, будто нет.
И Гагарин его не видал,
и над Витебском вместе с женою Шагал,
и философ-поэт Парменид,
и монах, обустроивший скит.

Может, зрел Его в иконописной Рублёв,
как пред дубом Мамврийским, Авраам?
Он вначале был соткан из воздуха слов,
чтобы в Слове быть явленным нам.

Он пришёл не за тем к нам, чтоб нас осудить,
не обоженье нам преподавать,
а затем, чтобы мы научились любить
так, как воздухом этим дышать.

* * *

Жить — это в лёгком, расслабленном теле
утром очнуться в родимой постели —
и, никуда не спеша, —

ширококрыло парить, будто птица —
не размыкая так долго ресницы —
как пожелает душа...

Шилова Ольга Васильевна — поэт, журналист. Родилась и живёт в городе Мещовске Калужской области. Работала художником-постановщиком Мещовского народного театра. Автор четырёх книг стихов: «Нетерпёж» (2011), «Скит» (2016), «Благовременье» (2020) и «Тропа» (2022). Лауреат литературной премии имени В.Прокошина (2014).

В журнале «Дружба народов» печатается впервые.

В неизмеримом нейронов владенье —
долго охотиться за сновиденьем —
бо не простыл ещё след...

Жить бы и жить, о земном не радея,
в тёмно-подкорковом царстве Морфея —
горя не зная и бед...

* * *

Как-то раз на последней неделе —
когда поезд последний ушёл —
мотопланеры все улетели —
на душе было так хорошо —

и легко, и светло — невесомо, —
что доселе зажатая сома —
вдруг раскрыла цветочный бутон —
и пошла шевелить лепестками —

и, раскачиваясь стебельками —
в мотылька обратилась, — и он —
между створок и стенок порхая, —
будто в самом преддверии рая —

где не ясно — то явь или сон? —
весь отдался такому веселью —
что, не помня себя самого —
изнемогши — упал на постелю —
и внутри всё горело него —

и звенело, и переливалось —
на поверхности и в глубине...
Будто что-то сбывлось иль сбывалось
или только почудилось мне...

* * *

Если долго идёшь и глядишь вверх и вдаль —
влево-вправо вертя головой, —
ты узнаешь клинка раскалённую сталь,
и вслед — пушки раскат громовой.

Ты заценишь, как бьёт снеговая шрапнель,
установка небесная «Град».
Как разит точно в цель соловьиная трель,
посрамив купидонов отряд.

Если долго идти, то возможно вполне,
мир изведав на ощупь и слух,
с ним ужиться на время на мирной волне,
если мирен твой собственный дух.

И тогда, если даже в неравных боях
ты его оскорблял сгоряча,
он пошлёт тебе ягодный полдень в лугах
и напоит водой из ключа.

Ты изнанкой прижмёшь подорожника лист
к поцарапанной веткой щеке —
и не важно — кто мир: альтруист иль садист,
если с миром ты накоротке.

* * *

Новое утро под свободолобия знаком
вольного ветра, что веет всегда за окном...
Главное — корма дать птицам, котам и собакам
и не забыть о звонке телефонном — одном.

Быт — отпустить от себя — пусть плывёт по теченью
и сочиняет привычно свой собственный джаз...
Мне ж подобает подвластной быть лишь вдохновенью,
подстерегающему в непредвидимый час...

Так, день за днём доверяешь свой парусник ветру —
ведать не ведая — Слово куда поведёт...
Вся отдаваясь силлабике-тонике-метру —
лишь мимоходом касаясь житейских тенёт.

Олег Рябов

Культурные люди

Рассказы

Человек из филармонии

Солнце садилось в огромную бездонную тучу, расплёскивая по небу багровые брызги. Там, за Волгой, за мостом, возможно, где-то уже в Сормове, в грохоте раскатов грома и беспрестанных всполохах бушевала гроза. Густая чёрная туча очень быстро наполнила на город, погружая его в полумрак.

Человек стоял в центре Кремля, на самом венце Волжского откоса, напротив входа в концертный зал филармонии, любуясь величественным явлением природы. На нём были помятые вылинявшие брюки, которые когда-то, скорее всего, были бежевыми, такие же бесцветные пыльные летние туфли и трикотажная бабочка ядовитого канареечного цвета. Концерт должен был начаться с минуты на минуту, и человек вынужденно отказался от личной встречи с грозой. А ведь любопытно было посмотреть, сумеет ли она перебраться через реку или же, как часто это случается, прольётся ливнем там, за рекой, — для грозовых туч реки часто становятся неодолимой преградой.

Когда упали первые капли, человек уже входил в зал вместе с другими слушателями и любителями.

Это был не запланированный официально концерт, а общественное прослушивание нового, только что созданного преподавателями консерватории дуэта из виолончели и аккордеона. Присутствовали не только профессиональные музыканты и критики, но и представители общественности, которые должны были высказать своё мнение, но их было немного, да и само выступление, плоское и невыразительное, продлилось не больше часа. Барышня с виолончелью выглядела чересчур эротично: её широко расставленные икрастые ноги и энергичная работа смычком отвлекали внимание от огрехов в процессе извлечения звуков. Профессор, работавший с аккордеоном, был откровенно стар, ему давно пора уже было на пенсию.

Рябов Олег Алексеевич родился в 1948 году в Горьком. Окончил Политехнический институт по специальности «радиоинженер». Печатался в журналах «Дружба народов», «Знамя», «Нева» и др. Лауреат конкурсов «Ясная Поляна» и «Болдинская премия». Живёт в Нижнем Новгороде.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2021, № 4.

Выйдя из душного зала, зарекомендовавшего себя как храм музыки, человек сразу ощутил свежесть волжского воздуха, пронизанного памятью озона с добавкой какой-то новой ноты запаха прелых листьев — наверное, это был намёк на приближение осени. Хотя какая осень, если ещё только начало августа. Около луж бродили голуби, и было понятно, что ни грозы, ни какого-то очень уж сильного ливня за это время не случилось — на лавках вдоль прогулочной аллеи сидели мамы с колясками и детишками, а ещё старушки, забывшие про свой возраст; да и лужи-то были небольшие, подсыхающие.

— Миша, — слышалось довольно отчётливо и громко.

Человек из филармонии даже вздрогнул, а может — вспрянул.

На скамейке сидели две карикатурного вида дамы в годах, в каких-то совершенно умопомрачительных нарядах: в магазинах таких не купишь и на заказ ни одна портниха такого не сошьёт — эти предметы женского туалета можно отыскать только на реквизиторских складах больших столичных театров да, возможно, на киностудиях. Гипюровые кофточки с накладными кружевными воротниками, небольшие шляпки с пёрышками каких-то райских птиц, необыкновенных форматов маленькие ридикюльчики то ли из замши, то ли шёлковые и, конечно, кремовые кружевные перчатки.

Лица старушек были деформированы временем, но это-то их и сближало и превращало в некий единый и трудноразделимый объект: урюк, сваренный и вынутый из компота; хотя одна из старушек была курноса, а у второй нос был крючком.

Человек из филармонии остановился и вежливо поклонился дамам в ожидании.

— Миша, ты что, меня не узнаёшь?

— Что вы, Эльвира Степановна, конечно, узнаю! И очень даже рад видеть вас в полном здравии!

— Ты что, Миша, тоже ходил слушать этот шалман? И пожалуйста, зови меня Эллой, как в молодости, а то мне неудобно! И, пожалуйста, посиди с нами.

— Хорошо, Элла! Только посидеть я не смогу — у меня режим: я должен сейчас в темпе пройти три километра. А присутствовать на представлении этом — я да, присутствовал. Меня просили, и я пришёл. Меня попросили высказать мнение, но я не стал.

— А каково твоё мнение?

— У меня нет мнения. Ну не может у меня быть мнения о работе двигателя внутреннего сгорания, и мнения по поводу урожая пшеницы в этом году у меня тоже нет. Правда, у меня может быть прогноз на грозу, и гроза сегодня будет. У меня может быть мнение о музыке или о работе концертмейстера, а тут... Тут не было ни того ни другого — и я ушёл.

— Вот как! Ну и правильно! А вот мы даже и не ходили. Миша, а почему я тебя столько лет не видела? Ты где был?

— Меня здесь не было, Эля. Жил я далеко-далеко. Даже — не жил, а был.

— А чем ты сейчас занимаешься?

— Я? Я управляю грозами, ливнями, дождями и всякой прочей погодой. Понадобится — звони, помогу!

— Удивительно, — это прогноз погоды, что ли, на метеостанции? Мы с тобой не виделись лет сорок. А ведь у нас был почти что роман!

— Да, Эля, — было! Последний раз мы с тобой виделись... Мы с тобой вместе работали у Геннадия Рождественского на исполнении первой симфонии Шнитке. Мы с тобой в тот вечер даже целовались!

— Ну-ну-ну!

— Я побегу!

— Беги. А будет хорошая погода, заходи сюда, мы с Машей часто по вечерам здесь гуляем. Миша, ещё постой! И всё же ты мне кого-то очень сильно напоминаешь — напомни, кого!

— Нет-нет-нет! Эля, ты ошибаешься! Это я — Миша, и больше никто! А вот с погодой я вам смогу помочь.

Человек из филармонии развернулся на каблуках и удалился. И был он высок, строен, и походка его была противоестественно моложава.

— А ты знаешь, Маша, я ведь когда-то была в него влюблена! Я не старая дева, у меня есть дети и внуки, а влюблена я была только раз в жизни. Вот в него и была как дура влюблена. Но, наверное, все девушки, которые в кого-то когда-то влюблялись, — дуры! Нет? Вот ты влюблялась?

— Может быть, — не помню. Я, знаешь что, и этого твоего Мишу тоже не помню. А ведь тоже работала на том замечательном концерте. Мы же с тобой рядом сидели, а его вот не помню. Да и концерта почти не помню. Это что — деменция или альцгеймер?

— А при чём тут это? И чего особенного, Маша, — больше сорока лет прошло. А Миша работал за вторым роялем. Любопытного там было много, в этой первой симфонии Шнитке. Этот Альфред посвятил свою симфонию Геннадью Рождественскому, и тот вынужден был дирижировать премьеру. А только ни в Москве, ни в Ленинграде не дали, несмотря на его очень уже высокий статус, попросту запретили. Тогда он решил сделать премьеру у нас в Горьком. Мама Рождественского отсюда родом, она родилась здесь ещё до революции. Так что наш город Рождественскому был почти что родной, и все наши нижегородские Рождественские — его родственники. А вот адмирал Рождественский, который с Цусимой оскандалился, только его однофамилец. В общем, всё сложилось удачно в этом плане. Это потом, после премьеры, снимали тут всё городское руководство культурное, и всё из-за того, что ажиотаж был вселенского масштаба.

— Не помню я что-то такого. А что там ажиотажничать-то было?

— Концерт начинался «Прощальной симфонией» Гайдна, где музыканты уходят со сцены, гася свечи в знак недовольства своими бытовыми условиями. Чем уж там в восемнадцатом веке они были недовольны, не знаю, но то, что концерт должен был стать вызовом культурной общественности властям, то об этом говорили заранее, ещё до премьеры.

— Про то, как мы свечи гасили, помню.

— А то, что симфонию Шнитке должен был играть полный симфонический оркестр, — это ты не помнишь? Симфонический оркестр — это сто десять, а то и сто двадцать музыкантов, а у нас в городе все оркестры — «половинки»: по пятьдесят, пятьдесят пять. Да, и почти во всех провинциальных городах «половинки». Пришлось из двух оркестров составлять полный: из оперного и филармонического, которым руководил Гусман Израиль Борисович. На сцене чуть ли не на головах сидели. У Шнитке должны были по партитуре работать четыре арфы, а у нас во всём городе нашлось только три приличных, четвёртую пришлось из Арзамаса привозить. Вставки и проигрыши импровизировал джаз-оркестр Георгия Гараняна, «сейшен» он эдакие устраивал, выскакивали они на сцену, как черти. Геннадий Николаевич много лет спустя в интервью каком-то проговорился, что была бы в то время группа «Звуки Му» с Петей Мамоновым и Сашей Липницким, он их тоже выпустил бы в тот вечер на сцену.

— Господи, как давно всё это, как прекрасно, а я уже ничего не помню!

Человек из филармонии лёгкой спортивной походкой передвигался по городу, используя для своих манёвров известные одному ему переулки и проходные дворы. Он с какой-то артистической ловкостью запархивал в эти трущобные городские скважины и так же легко пронёсился по ним. Очень скоро он оказался на Гребешке, в районе, где ещё сохранились, хотя и полуразвалившиеся, старые деревянные и полукаменные купеческие особняки дореволюционной постройки.

Около одного из таких строений с совсем уже обрушившейся верандой и покосившейся башенкой для флюгера на крыше человек из филармонии остановился, чтобы перевести дух. Он приподнял склонившуюся к самой дороге ветку старой сирени, нагнувшись, прошёл под ней и по когда-то вымощенной дорожке уверенно направился к дому. Обойдя его, он у самого обрыва, над рекой, сел на чудом ещё не сданную в металлолом чугунную скамейку и замер. Потом он встал — стоя ему легче было медитировать.

Он стоял над Волгой, над Окой, над белостенным Благовещенским монастырём, на Стрелке сиял Храм Александра Невского, а дальше над горизонтом, снова пряча от мира уже заходящее солнце, опасной зверюгой притаилась плоская ночная чёрная туча. Она как бы замерла в ожидании своей минуты.

Человек из филармонии без суеты, по-хозяйски, достал из кармана ключ, спустился по ажурной чугунной лестнице в подвал своего загадочного домика, открыл дверь и по длинному тёмному коридору, на ощупь спустившись по сырым ступеням, прошёл, наконец, к цели. Зал был метров пятьдесят. Освещался он десятком больших канделябров, скорее даже их можно было назвать шандалами, на полу лежали вытертые ковры, на стенах висели тёмными пятнами картины в золочёных, покрытых патиной массивных рамах. В камине горели добротные берёзовые дрова. На столе стояли бутылки, несколько чистых фужеров и ваза с фруктами.

Хозяин, а в этом можно уже не сомневаться, подошёл к камину и машинально, без особой надобности, бросил в огонь полено. Потом он так же не торопясь и внимательно рассмотрел этикетки на бутылке с вином и налил себе в фужер.

— Ну вот вроде и всё! Пора!

И в тот же миг, вместе с оглушающим ударом грома, в башенку для флюгера на крыше дома ударила молния. Домик, похожий теперь больше на бумажную картинку, будто материализовавшийся из старой детской сказки, вспыхнул, как скомканная газета. Пожарные приехали очень быстро, но всё равно было поздно. Они неуклюже бродили в своих брезентовых средневековых латах среди головешек, качали головами в маскарадных тяжёлых касках и удивлялись, что всё так быстро и хорошо прогорело: даже пожарные рукава разворачивать не пришлось.

Удачно опохмелился

1

Мишка Жмуркин и Илья Криворотов были неплохими журналистами. Сейчас сразу и не соображу: журналистика — это тоже какой-то вид искусства или всё же это ближе к производству! Потом разберёмся. Они были друзьями, а потому часто вместе выпивали после работы, а иногда и прямо на работе. Так было заведено испокон веков в этом виде деятельности. Замечу для точности, что Жмуркин работал на радио, Криворотов на телевидении — просто эти две важные идеологические структуры находились в одном здании, в телецентре. Было им обоим по сорок с хвостиком, у обоих были некоторые проблемы в семьях, и оба они давно уже не мечтали

Дмитрий Бирман

Три рассказа

Челяба

— Рыбаков! — Ирина Александровна зло сощурила глаза и резко вскинула руку. — Это что?!

— Серьга, — Марк заворожённо смотрел на вытянутый указательный палец с коротко остриженным ногтем. Ему казалось, что «чекистская мадам» из очередного дешёвого сериала направила дуло маузера ему в висок.

— Зачем? — завуч опустила руку, и он облегчённо выдохнул.

— Типа, чтобы не как все!

— Зачем? — повторила Ирина Александровна, вздёрнув подбородок.

«Вот бы ей в кино начальницу концлагеря сыграть!» — подумал Рыбаков.

— Потому что нравится, — усмехнулся он, закипая. — Я ведь из Питера! А у нас другие люди живут, вы не в курсе?

— В курсе, — кивнула Ирина Александровна. — «На понтах», как вы это называете. И радужных много.

— Кого? — удивился Рыбаков.

— Гомосексуалистов!

— И что? — улыбнулся Марк. Его стала забавлять эта странная тётка. «Наверное, просто дура», — подумал он.

— А то! — Ирина Александровна подняла вверх указательный палец и стала похожа на послушницу в храме. — В Библии сказано, что, если мужчина лёг с мужчиной, — это страшный грех! Не отмолишь его! — добавила она с доброй улыбкой.

— Ирина Александровна, — рассмеялся Рыбаков, — расстреливать предлагаете петухов?

— Петухов? — теперь уже она удивлённо вскинула бровь. — Гомосексуалистов! От них всё зло! — Ирина Александровна хотела продолжить, но на счастье раздался звонок, приглашающий учителей заняться делом, а учеников — терпеть учителей.

Марку Рыбакову нравилась его фамилия, а вот библейское имя — раздражало. Особенно, если мама, решив встретить его после уроков, кричала из своего нарядного «Мерседеса»:

Бирман Дмитрий Петрович — поэт, прозаик. Родился в 1961 году в Горьком. Автор нескольких книг, в том числе «Как вкусно пахнет дождь» (2012), «Ежедневник» (2013), «Странные люди» (2016). С 2017 года — Председатель оргкомитета Международного литературного фестиваля им. Максима Горького, проходящего в Нижнем Новгороде.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2020, № 3.

— Маркуша, дорогой, я здесь!

Предок решил, что сын должен учиться в обычной школе. Как все. Вот он — родом из Нижнего Новгорода, детство и юность прошли в Автозаводском (самом криминальном тогда) районе города, и ничего — справился, преодолел, добился! Так и сын пусть побольше о жизни узнает, посмотрев на неё не только из окна маминого «Мерседеса».

Высокий, крепкий блондин с правильными чертами лица и серо-голубыми глазами, Рыбаков нравился девушкам и раздражал мужскую половину класса. Был он независимым, по любому поводу имел своё мнение, не стесняясь, высказывал, к тому же лоск жителя культурной столицы диссонировал с провинциальными комплексами одноклассников.

— Мажор, епта! — Витёк Ключев цокал языком и сплёвывал сквозь зубы. После того, как Марк пришёл с серьгой в ухе, он отозвал в сторону своих закадычных друзей Гуню и Серого.

— Может, отхерачим его в туалете?

Витёк держал в классе «шишку» — его старший брат мотал срок в ИК-8, или в «восьмёрке», как называли её местные.

Учитывая, что зона была образцовой, а руки у брата золотыми (замок любой сложности он открывал за полминуты), — передовику производства разрешали свидания два раза в месяц.

Витёк считал себя «смотрящим» по классу и не терпел «отморозков», а Марк, по его мнению, был «отморозком» абсолютным — не признавал «смотрящего», к тому же очень неплохо владел навыками рукопашки.

— Пакет накинем ему на башку и втроём точно отхерачим! — Крылов внимательно смотрел на потенциальных подельников.

Марку совсем не нравился Челябинск с его блатной романтикой и промышленным гигантом, на который отца пригласили финансовым консультантом за чёртову кучу денег.

За такую, что тот согласился на пять лет оставить культурную столицу мира и окунуться в тоскливую челябинскую муть.

Рыбакову-младшему пришлось сменить школу «три двойки», что рядом со Спасом-на-Крови, расстаться с одноклассницей Леночкой Звягиной, делавшей ему минет в туалете клуба «Нарру Караоке».

Пару раз, зазвав её к себе в гости, когда не было родителей, Марк пытался претендовать на большее, но Леночка, интеллигентно вытирая пальчиком краешки ласковых губок, говорила, что хочет подарить свою невинность будущему мужу.

Рыбаков усмехался, но не спорил.

Теперь же он чувствовал себя белой вороной в школе номер сорок пять, которая была недалеко от той самой «восьмёрки».

Отчасти с новыми реалиями его примиряла Галя Новикова из параллельного класса, строящая глазки и призывно облизывающая пухлые губы кончиком языка. Марк был уверен, что с ней они пройдут весь путь, даже если змей-искуситель не предложит им яблоко.

Как-то на него пытались наскочить местные малолетние «авторитеты», но, получив люлей, больше не напрашивались. Рыбаков был безмерно благодарен бразильскому джиу-джитсу, ставшему модным в Санкт-Петербурге в последние годы.

Марка не пугали ни мрачный город, ни приклатнённый Витёк, ни перспектива болтаться здесь почти год до окончания школы, — он знал, что уедет в Питер, поступит в ИТМО, и нынешнее его бытие превратится в воспоминания.

Больше всего Рыбакова доставала завуч Ирина Александровна. Она придиралась, делала замечания, приставала по каким-то надуманным поводам.

То — зачем чёлку покрасил, то — почему сумка для учебников жёлтого цвета, или — чего это в школу красные кеды надел.

Как-то она остановила Марка, шедшего в наушниках (музыка помогала отстраниться от убогой реальности) и бесцеремонно взяла их.

— Послушаем, что у тебя тут! — Через минуту, сморщившись, заметила: — Queen хорошая группа, а вот Меркьюри был гомосексуалистом! Ты знаешь об этом?

— Знаю! И что? — Марк аж позеленел от злости. — Наушники отдайте!

Витёк Клюев разработал план.

— Короче! Серый, ты ему на голову пакет и сразу закручивай сзади! Он, сука, как рыба там рот начнёт разевать, а мы с Гуней сдернем штаны с него и в жопу бутылком ткнём! По-любому запетушится вместе с серёжкой своей!

— Может, не надо так уж? — Гуня задумчиво почесал затылок.

— Не надо?! — взвился Витёк. — Он в брендах ходить будет, выёживаться, а мы, типа, «вечер в хату»?!

— Да он спокойный, Витёк! — Серый пожал плечами.

— Мы — бригада? — процедил Клюев.

— Ну, бригада.

— Тогда не хер! — он энергично рубанул рукой воздух. — Делаем, как сказал!

Марку нравился Queen. Питерские друзья называли его за это мамонтом, хотя и признавали, что Меркьюри был крутым. С наушниками в ушах он зашёл в туалет, окинул тоскливым взглядом ободранные стены, отвалившуюся местами плитку, пожелтевшие унитазы, засанный пол и, задержав дыхание, чтобы запах несмытых фекалий не вызывал рвотный рефлекс, расстегнул ширинку.

Когда Серый наскочил на него сзади с плотным чёрным пакетом для мусора, Марк автоматически резко откинул голову назад, и нос неопытного душегуба хрустнул. Сорвав с головы пакет, Марк с разворота ударил Гуню коленом в пах, ушёл от кинувшегося на него Витька и, оказавшись у него за спиной, сделал удушающий захват.

Глупый старый упрямый осёл,
Со своими тупыми правилами,
Со своими узколобыми собутыльниками,
Крестинами высшей пробы...

Текст A night At the Opera, гремевший в его ушах, попал в десятку, и Марк усмехнулся.

Вообще, на тренировках им не разрешали контактные удары, а удушающие приёмы можно было проводить только под контролем тренера.

Словно со стороны, Марк увидел себя лежащим на вонючем полу, а рядом Клюева, которого он рефлекторно перестал душить, когда тот уснул от недостатка кислорода.

Гуня стонал, согнувшись и прижав руки к низу живота, а Серый сидел на унитазе, задрал голову и прижимая к носу рукав пиджака.

Марк оттолкнул от себя спящего Витька и поднялся.

Настроение хорошее, доволен?
Чувствуешь себя как самоубийца?
(Надеюсь, что да!)
Как совесть? Не поёт песни по ночам?
Хорошо себя чувствуешь? — О да! —

он громко процитировал русский перевод текста, звучащего у него в ушах, и вышел, не закрыв за собой дверь.

В коридорах было шумно. Никто не обращал внимания на Марка, шедшего к выходу из школы, только красавица из параллельного класса Галя Новикова сморщила нос и удивлённо посмотрела вслед.

Оказавшись на улице, он быстро зашёл за угол и, обняв тополь, на котором кто-то вырезал: *Timati forever*, начал шумно блевать.

Разогнувшись и вытерев губы тыльной стороной ладони, он огляделся по сторонам — не было ли свидетелей его позора.

Только сейчас Марк понял, что на улице моросит дождь и, вообще, погода в конце сентября совсем не питерская.

Вокруг никого не было. Над школьным гаражом поднимался лёгкий сигаретный дым. Обычно старшеклассники курили там на перемене, но уже начался урок, и Марк решил посмотреть, кто игнорит школьный регламент.

За гаражом на деревянном ящике сидела... Ирина Александровна. В дождевике, с накинутым на голову капюшоном. Она делала глубокие затяжки и смотрела куда-то вдаль странным неживым взглядом. Тлеющая сигарета должна была вот-вот обжечь её пальцы.

— Здрасьте! — растерянно произнёс Марк.

Секунд пять она смотрела сквозь него, потом, встряхнув головой, сфокусировала взгляд.

— Ты что не на уроке? И чем это от тебя пахнет, Рыбаков? Вернее, воняет!

— В туалете поскользнулся, упал! — резко ответил он.

— Курить ходил? — Ирина Александровна достала сигарету из пачки и прикурила от тлеющей.

— Не курю! — отчеканил он.

— Ну, хоть что-то... — протянула завуч. — А что раздетый? Понты питерские?!

— Слышь, тётя! — Марк сузил глаза и сплюнул сквозь зубы, как это делал Витёк. — Ты что мне, сука, буллинг устроила?! Дома не на кого наехать? Жаба душит, что ты в чмошном Челябине скоро пенсию встретишь, а я через полгода по Невскому буду гулять?!

Ирина Александровна плавным, балетным движением руки отбросила сигарету, потёрла одну о другую замёрзшие ладони и... улыбнулась:

— Рыбаков, иди ко мне, садись рядом.

Ошалевший Марк внимательно посмотрел на неё, подошёл, поднял лежащий на боку ящик и сел, поставив его рядом.

— Ты не ушибся? — заботливо спросила она.

Он отрицательно мотнул головой, а Ирина Александровна вдруг погладила его по щеке горячей ладонью.

— Ирин Александрн, — отстранился Марк, — у вас всё в порядке?

— Нет, Рыбаков! Нет, Марк, не в порядке! Сегодня день рождения моего сына Витеньки. Знаешь, он был всего на три года старше тебя.

— Был? — вырвалось у Рыбакова.

— Да, был, — она поднялась и поправила причёску. — Был, Марк. Он умер год назад. От передозировки. Музыка много слушал. Кстати, тоже Queen любил. На всё свой взгляд, своё мнение. Серьга в ухе, одеваться как-то странно начал. Однажды я вернулась домой раньше и застала его с другим мальчиком. Ну, ты понимаешь?

Рыбаков, заворожённо смотревший на неё, автоматически кивнул.

— Я устроила истерику и выгнала его из дома. Ненавидела его. Через месяц позвонили из полиции, пригласили на опознание. Ой, пусть бы жил как хотел, только бы жил! — вдруг завывала она.

Потом зажала руками рот и замотала головой. Слезы текли по щекам, собирались на подбородке и капали прямо в вырез блузки.

«А она, наверное, была красивой в молодости», — вдруг подумал Марк, для которого женщины за сорок были глубоко пожилыми.

Денис Колчин

Когда улитка на войне

* * *

Опасность опавшей листвы очевидна вполне.
Листва прикрывает кассетные киндер-сюрпризы.
Не дай бог заденешь. Окажешься где? В тишине,
в объятиях Герды Таро, в коготках бедной Лизы.

Не дай бог наступишь, поделят к лежачим. Домой
уже не поедешь. Отсюда убойные виды
на горы, на город. Хоть послевоенной весной,
хоть летом. Ботаника в силе, и все гоминиды,

задевшие киндер-сюрприз, остаются при ней,
а также поймавшие прочие формы чермета.
Она подготовила каждому кров из корней,
камней, хворостинок, осколков убойных предметов.

А кто и откуда... Без разницы. Хоть Ереван,
хоть Ёбург. Везде одинаково треплется мышца
над рёбрами левыми, против лопатки, изъян,
допущенный богом. И мне почему-то не спится.

У нас тут листва под дождём потонула в грязи.
А ночью — ноябрь. И уже холодком прихватило.
На полке святой гоминид супер-змея разит.
Но, боже ты мой, неужели подобное было?

Колчин Денис Сергеевич — поэт, журналист. Родился в 1984 году в Свердловске. Окончил журфак УрГУ. Работал военным корреспондентом в Крыму (2014), Дагестане (2015—2019), Карабахе (2020) и на Донбассе (2022). Автор книг стихов: «Подготовительный курс» (Екатеринбург, 2017), «Фронтир» (Екатеринбург, 2021) и нескольких книг прозы в жанре нон-фикшн. Печатался в журналах «Урал», «Звезда», «Знамя» и др. Живёт в г.Екатеринбурге. В журнале «Дружба народов» публикуется впервые.

* * *

Когда улитка на войне
в Шуше или Степанакерте,
садовый воздух — пралине
на абрикосовом концерте

среди монастырского двора
после ракетного обстрела.
Листва — жива. Кора — гора.
Улитка на неё успела

до фейерверка, до трубы,
пронёсшейся над лабиринтом
дворов, садов. После ходьбы
ускоренной похожий ритм

сердцебиенья. Хорошо,
когда летит куда подальше.
Улитка — сгусток, биошов,
надежду талисман хранящий.

* * *

Не в силах заснуть,
русско-турецкие войны считаю.
Хотел прибухнуть,
изгой, живущий вблизи Уралтау.

Январь на крыльце
ночной, два-три огонька на деревню.
«Так вот что в конце...
Не повидаяю ни Трою, ни Плевну».

Ни зги, ни тоски
вселенской. Только тоска человечья.
Привстать на мыски —
верхнюю прорубь опробовать. Теча

воздушная здесь —
звёзды, кометы и звездолёты,
улов и обвес.
Спасибо, Господи, за щедроты.

За то, что забыл
и не вспоминаешь — учишь смиренью.
Я тоже остыл,
вместо бухла вкушаю варенье

малиновое,
сам себе ёжик и медвежонок.
При мёртвом конвое
алмазный сверчок, небесный обломок.

* * *

Сначала было слово «каша».
Потом Господь налил вина.
А я, предатель Уралмаша,
пустил себя на семена.

Взошла и расцвела гордыня,
покрытая живой бронёй,
как отуреченная дыня,
запущенная по кривой

над перепаханным кварталом,
набитая, — такой рецепт! —
любовью и тротилом (в малом
отображается букет).

Когда гордыня потускнела,
Любовь малиновым кустом
пошла по улице, вспотела,
простыла, вспыхнула флажком

сигнальным, косточки сложила,
подорванная БМП,
заслуженного старожила
измена самому себе.

* * *

Батырь Бурундай снаряжает винтарь.
За Волгу собрался, далеко-далеко.
За Волгой под снегом лежит пономарь,
скучает вратарь. Бордовое молоко

бордовую наледью к морю скользит,
оставляя дымные сёла и города,
пока Бурундай поправляет щит,
навигатор настраивает...Бидъа!¹

Не найдётся прежнего ничего.
Шлях покрылся бетоном. Хайтек, совок
громоздятся на месте кочевий. О,
Аллах, Бурундай несчастен и одинок!

Модное титановое пальто,
сабля с гравировкою Peweeou,
дроны и трансформеры... Только то
неизменно, что славяне про смерть поют.

¹ Бидъа — обозначает в исламе новшество, нововведение.

* * *

Чум из костей оленей и людей
привиделся однажды на войне.
Я поступал в разрушенный лицей,
основанный в исчезнувшей стране.

Молчала тундра, ластилась река,
чум превращался в костяной доспех.
Отцовский отдыхающий АК
чернел, к стене приставленный, на всех

дагерротипах памяти, мерцал
оружьем новгородским на заре.
Сперва доспех мне оказался мал,
потом — велик. Потом Гиперборейск

напалмом освящённым воспылал,
покрылась пеплом Обская губа.
Доспех распался. Костяной кинжал
под сердце мне забрался, и труба

взыграла. И прости-прощай, лицей.
Смерть жажнула снарядом во дворе.
Переменившись тотчас же в лице,
очухался — ещё бы, с таких цен —
и полетел на голос батарей.

* * *

Под разговор мобилизованных,
под пересуды уезжающих
глоток осеннего озона.
Холодный свет — преобладающий.

Хлеб расплзается по озеру,
растёт подводными текстурами,
воздушный — чистое молозиво! —
осклизлый, как буксир заптуренный,

на дно ушедший преждевременно,
раскинувшийся по пригорочкам,
под боевые переделанный.
Лихая выдалась размолвочка.

Озёрный край осенним вечером...
Земля сырая — мать и мачеха.
Сверкающие «грады» всеюром
скользят над удивлённым мальчиком.

Александр Пятков



Самое главное

Рассказы

Рождение человека

Помню, дед за пивом пошёл. Помню я это плохо. По правде сказать, совсем не помню! Потому как тогда я только родился и вырасти ещё не успел. А дед вырос. Потому и за пивом пошёл.

Он всю неделю болел, а тут — вскочил и убежал.

«Вскочил и убежал» — это бабушка говорит. До сих пор удивляется. Ничего удивительного в том нет. Всё-таки было деду уже под шестьдесят. Не первый раз, должно быть, он за пивом отправился. Потому и вскочил. Потому и убежал. Всё-таки опыт — вещь!

О рождении моём деду сообщили по телефону.

— Сын! Сын родился! — кричал в трубку отец.

— Родился! Родился! — повторил дед. Вскочил и убежал.

С телефоном этим я потом никак не мог сладить. Хоть и учили меня, но я всё не понимал, куда вертеть диск. Туда? Сюда? Туда-сюда, туда-сюда. Туда или сюда?

Телефон этот до сих пор работал бы, но почему-то сломался.

А дед вскочил, убежал и оказался на улице. Времена тогда были крайне нестабильные, в отличие от сегодняшних, крайне стабильных. Да и Ильич всё ещё в мавзолее лежал. Хотя он и сейчас там лежит.

— Он лежит, бока отлёживает! Нет чтобы на работу пойти! — говорит тётя Надя мужу своему. Кто она такая, тётя Надя? Я не знаю.

А Ильич лежит. Сам я не видел, но знающие люди рассказывали.

«А воз и ныне там», — высказался об этой ситуации известный баснописец.

Ну ладно, Ильич-то лежит-полёживает. Ильичу-то хорошо, не то что соратникам евоным, которых «иных уж нет, а те — далече», как заметил один небезызвестный поэт.

Пройдя по улице не более двадцати шагов, встретил дед Галанта.

Галант — это фамилия. Они с дедом на фабрике вместе работали. Он даже на похоронах у него был, Галант-то, — это бабушка рассказывает. — Он всё ему говорил:

Пятков Александр Сергеевич родился в 1993 году в городе Берёзовский, Свердловской области. Учился в УрГПУ г. Екатеринбурга на историческом факультете. Печатался в журналах «Урал», «Нева», «Знамя». Участник проектов, проводимых АСПИР и Фондом СЭИП. Живёт в городе Берёзовский. В «Дружбе народов» публикуется впервые.

друг, друг. Пойдём, говорит, друг, на Шарташ съездим. Пойдём, друг, говорит, за пивом сходим. Я и сейчас, встречу когда Галанта, он спросит меня: ну, как там друг мой лежит?

Вот и говорит Галант деду:

— Друг, пойдём в баню.

— У меня внук родился! — отвечает дед.

Рождение человека — дело нешуточное. Больше того, скажу так: дело это серьёзное, его обдумать надо хорошенько, спешка тут ни к чему. Ну и, чтобы не спешить, дед принял малость. А Галант — так хватил! И пошли они в баню.

Баня тут недалеко, всего две остановки пройти. Дед часто меня в баню звал, но я не ходил, не нравилось мне там. Хотя нет, сходил как-то. Помню я это плохо. По правде сказать, совсем не помню!

Долго ли, коротко ли пребывали в бане дед с Галантом — протоколами не зафиксировано. Приблизительно — тридцать две минуты пребывали. Но что такое тридцать две минуты по сравнению с рождением человека? Вот дед и вспомнил, что внук у него родился, он и раньше того не забывал, но тут вспомнил и говорит:

— Я, друг, за пивом пойду. У меня внук родился.

— Я, друг, ещё посижу, — благословил Галант.

Пивнушка от бани, можно сказать, в двух шагах. А можно сказать — одна остановка. Удобно это и практично.

«...Дед за пивом каждую неделю ходил, — это бабушка рассказывает. — Любил его очень».

Наблюдательный читатель, конечно, подумает, что внуки каждую неделю у деда рождались. Скажу тогда, что дед и меня с собой в пивнушку брал. Мне там нравилось. Потому как уходили мы оттуда всегда веселей, чем приходили.

Ну, ещё бы не веселиться! Ведь пришёл с пустыми руками, а ушёл с пивом! Я и тогда-то это понимал, чего уж сейчас говорить...

Был у деда чемодан-нечемодан, саквояж-несаквояж, баул-небаул — нечто объёмное, ну прям абалаковский рюкзак. Из этого нечто, однажды придя в пивнушку, дед достал три трёхлитровые банки без пива. А обратно убрал три трёхлитровые банки с пивом. И пошёл домой. Тут-то и можно закончить рассказ. Но — вуаля! — большой пузатый дедов чемодан-нечемодан, саквояж-несаквояж, баул-небаул заметили хулиганы.

Они, само собой, сидели на рояле, стоящем в прекрасных и изысканных кустах.

Хулиганы те, конечно, не чета нынешним. Тогда, бывало, подойдёт к тебе такой:

— Товарищ, — скажет, — убедительно вас прошу отдать мне чемоданчик, часики, ботиночки. Можно и костюмчик, если имеется желание.

А от самого него так и несёт на тебя парами культуры и образования.

Ныне же разбойник современный обленился, сидит себе на кортаках. Проходишь мимо, а он:

— Чемодан, часы, ботинки есть? — говорит.

— Нету, — говоришь.

А он:

— А если найду?

Что это такое? «Если найду...» Культурный человек никогда так не скажет.

Хулиганы сейчас совсем неродные какие-то стали. Подходит недавно тут ко мне один. Показывает хулиганистое удостоверение своё. Вопросает:

— Колющие, режущие предметы, запрещённые вещества при себе имеете?

Мария Давыденко



Лесной Будда

Рассказ

— Пристегните ремни! Через несколько минут мы взлетаем! — объявил Кирсан пассажирам своего бюджетного такси.

Галсан, который ездил с ним из Яшалты в Элисту каждую субботу, слышал эту фразу уже в который раз, поэтому обдал знакомого ледяным презрением. Кирсан может вообразить себя пилотом сколько угодно, но он-то помнит, как тот падал с плюшевой лошадки и плакал навзрыд, будто свалился в степи с настоящего скакуна.

Кирсан, как обычно, выжимал двести километров в час из своей чёрной «десятки». Здесь степь — море, на пути водителя не встречается никаких препятствий. Калмыку есть где разгуляться на своём авто. Вокруг пшеничные поля, голая степь и несколько сот километров безупречной дороги. Кирсан не останавливался ни на минуту и не сбавлял скорость. Порой у его пассажиров возникало ощущение, что они в самолёте. Они несколько часов сидели, вжавшись в спинки кресел и не смели пошевелиться. Кому-то удалось задремать, а кто-то молча наблюдал за бесконечной степью. Галсан никогда не видел моря, но и не переживал по этому поводу: много-много солёной воды или много-много степи, — какая разница, когда всё одно — открытое пространство. Он никогда не чувствовал тесноты, хотя у него было три брата и две сестры. Вокруг всегда было раздолье.

Галсан впервые покидал родные места: старший брат жил в Волгоградской, стал участковым лесничим и теперь нашёл младшенькому рабочее место. Скоро Галсан оставит степную ширь и окажется в городе-миллионнике. Вот заживёт!

— Приехали! — воскликнул Кирсан.

Пассажиры с трудом вышли из машины. У Галсана кружилась голова, и его тошнило. Он знал — это нормальная реакция на вождение старого знакомого.

Блаженно улыбающийся Будда сидел под берёзой, поджав под себя ноги. Галсан присмотрелся — всего лишь утренняя дымка. Он глянул на узкое озеро

Давыденко Мария Юрьевна — участница проекта АСПИР «Мастерские»—2022. Родилась в 1988 году в городе Калач-на-Дону Волгоградской области. Окончила Волгоградский Государственный университет по специальности журналистика. Работала в газете городского поселения «Калач-на-Дону». Печаталась в журналах «Новый мир», «Урал».

Предыдущая публикация в «ДН» — 2023, № 3.

и преграждавшие всю линию горизонта холмы и подумал, что как-то тесновато. А где расстояние? Холмы отражались в воде вершинами вниз, этим занимая ещё больше свободного места.

Он вспомнил, что у него ещё много дел. Галсан натаскал воды, вскипятил чайник на электрической плитке, покормил пса Грея, сучку Ассоль и щенков. В глиняном доме Галсана всё было непритязательно: диван очень старый и весь в песке, большая печь, на деревянных полках раскиданы упаковки с вафлями и печеньем, пола просто нет. Фуфайка накрывала кастрюлю с картошкой. На стене красовался кабан в офицерской фуражке и солнцезащитных очках, на фуражке — пыльная книга Купера про Чингачука и Бамбо, пылилось собрание сочинений Ромена Ролана.

На десятки километров от его егерского пристанища не было ни жилых домов, ни турбаз, ни магазинов. Вся эта местность принадлежала ему, — ведь сюда лишний раз никто не доберётся. В отдалённых краях хозяин тот, кто может туда быстро приехать. У Галсана были права смотрящего.

К обеду заявили гости: участковый лесничий Саныч, водитель уазика Альбертыч, новая подруга Саныча Света с дочерью Оксанкой. Тишина ушла на другое побережье.

— Ты не поверишь, Галса! — сказал Саныч. — Я ж в финале конкурса лучших участковых лесничих года области. До закрытия отчётности по нарушителям один день. Три дня был голяк полный! И что ты думаешь, сегодня нашёл пьяных у костра под кроной деревьев. Начал их будить, приходит мужик с ружьём, интеллигентно интересуется, в чём дело, я ему объясняю, что нельзя разводить костёр под кронами деревьев, а сам моргнуть боюсь, как бы тот не выстрелил. В общем, какой-то художник из Москвы оказался, а ещё там был прокурор волгоградский. Моя статистика теперь в полном порядке, я, наверное, выиграю премию!

— Поздравляю!

— А как сам?

— Да Грей пошугал индюшек на даче какого-то милиционера. Как пёс туда добрался, пёс его знает. Но этот майор узнал мою собаку, потом сюда заезжал. Орал на меня час.

— Удивляюсь я тебе, Галса. Я бы в твоём возрасте ни за какие коврижки не стал здесь сидеть. Да что там, я бы и сейчас не стал здесь сидеть.

Восьмилетняя девочка принялась всё вокруг изучать и трогать. Галсан инстинктивно хотел защитить свою территорию. В душе он визжал, словно вепрь, попавший в капкан. Она потрогала каждую вещицу в его жилище. У Галсана от злости скрипели зубы. Он с радостью бы выгнал наглую девчонку. Затем она побежала к вольеру. Долго рассматривала Грея, фотографировала его, тискала щенят, чем очень раздражала не только Галсана, но и собаку Ассоль. Егерем овладела паника: словно вандалы разграбляют его хижину. А что он мог сделать, не выгонять же единственных за неделю гостей, да ещё и коллегу. Этим он бы навредил не только себе, но и старшему брату. Галсан стал думать о множестве красных тюльпанов, которые сейчас цветут в Калмыкии среди степных просторов. Впрочем, он знал, что и здесь неподалёку есть тюльпановое поле. Он представил, как эта же девочка срывает их, собирает в букет и фотографируется. Он подумал, что жить вдвоем от людей не так уж и плохо.

— Мама, мама, давай возьмём щенка!

— А можно? — спросила женщина.

— Это лайка. Грей — охотничий пёс, и они тоже. Этим собакам нужно много места. Им нельзя жить в квартире, — предупредил Галсан.

— У нас дом, — возразила девочка.

— А здесь у них лес. Как подрастут, я их местным охотникам отдам. Девочке они не подходят.

— Я с ним буду гулять.

— Они сами себя здесь отлично выгуливают. И их нужно воспитывать в строгости.

— Что ты так упёрся? — удивился Саныч. — Всё равно всех не потянешь, придётся раздать. Пусть бы и Оксанке достался.

— Но не ребёнку же! Не могу. Они не домашние.

Девочка зарыдала. Только вафлями удалось её немного успокоить. Галсан понял, что ни за что не отдаст щенка. Он возился с ними целыми днями, на них он мог смотреть бесконечно, словно на воду. Они были его главным сокровищем в этой глуши. Он хотел сам выбрать для них хозяина. Он в красках представил Кая на руках Оксаны, и ему стало не по себе. Этот пёс должен покорять леса, бегать по округе, чувствовать себя по-настоящему свободным. Он не из тех, что ходят на поводке и лежат на диване. Этот пёс создан для иного.

— Дядя, а кем ты хотел стать в детстве? — спросила Оксана.

— В детстве я обожал наш Аршанский хурул. Я хотел стать буддийским монахом.

— А туда берут с такими плохими зубами?

— Видимо, нет.

Саныч и его подруга загоготали.

— Не переживай, Галса, у тебя тут свой хурул! — успокоил его Саныч.

Вскоре они уехали, так и не забрав щенка. Весь оставшийся день Галсан осматривал свою вотчину вдоль берега. Утка с птенцами словно преследовала его, — плыла за ним до самой возвышенности, где у Галсана ловил Интернет. Он вошёл в соцсеть и увидел пост Кирсана: фото Корякского вулкана с китайской широкополой шляпой из облаков. Подпись гласила: «Сегодня линзовидные облака. Видели когда-нибудь такое на Камчатке или вообще где-нибудь?» Галсан тяжело вздохнул. Его знакомый уже несколько месяцев работал экскурсоводом-проводником на Камчатке, постоянно бесил его своими яркими фотографиями, которые не требовали фотофильтров. Один раз Кирсан даже прислал ему фото с прессом денег, которые он заработал на туристах за месяц. «У тебя что, кредитной карты нет или переводы не работают?» — возмутился тогда Галсан. Он остро почувствовал, как засосало под ложечкой от зависти. «Вот скотина!» — подытожил он просмотр ленты и вообще пожалел, что дошёл до места, где Интернет. Он отправился в обратный путь. Решил позвонить знакомой сотруднице лесничества Наташке. «Хочешь, приеду на узике, привезу потом сюда на новую экскурсию?» — предложил он. Та в ответ только засмеялась: «Чего я там не видела, Галса? То была разовая акция. Ты, конечно, парень хороший, с казёнными узиком и ружьём, но я предпочитаю большую землю. И сегодня у нас концерт памяти Горшенёва». На этом Наташка бросила трубку, не поинтересовавшись, не хочет ли он тоже на рок-концерт. «Это всё из-за моих зубов», — решил Галса. Он понял, что день не задался, будто все сегодня решили над ним поглумиться. «Ну вас к лешему! Там, на большой земле, все словно с ума посходили. А мне и здесь хорошо!»

Он чинно сел под берёзой, словно Будда. Из закрытых глаз несколько слезинок скатились на зелёную майскую траву. Цапля поблизости и не подумала улетать: она приняла его за своего, за местного, и сохраняла спокойствие, стоя на одной ноге.

Евгений Эрастов

БЫТЬ СО СЛОВОМ ОДИН НА ОДИН

* * *

Я родился здесь, но в другой стране.
И умру я здесь, но в стране другой.
И моей страны не увидеть мне.
Так вот всё и кончилось, дорогой.
В Беловежской тьме, под еловый скрип
Ведь не я же спьяну порол бузу,
Я под сенью тихих дворянских лип
Тридцать лет мечтал переждать грозу!
Неужели здесь веший князь Олег
Повелел щитом заслонить Царьград?
Неужели здесь возле вольных рек
Поднялся кремлей-куличей парад?!
Костромич седой в сапогах тугих!
Здесь убил тебя горделивый лях?
...Помирай скорей, непродажный стих!
Замерзай в валютных своих полях.

Жатва

Вдохновенную жизнь вспоминаю,
Словно висельник, мрачно шучу.
Ничего-то я толком не знаю,
Да и знать ничего не хочу.

Стало весело мне отчего-то!
Депутат ли навешал лапши,
Затянуло ль по горло болото.
...Наступает пора обмолота.
Это жатва. Садись и пиши.

Эрастов Евгений Ростиславович — поэт, прозаик. Родился в 1963 году в г. Горьком. Окончил Горьковский медицинский институт и Литературный институт им. А.М.Горького. Работает врачом, доктор медицинских наук. Автор шести сборников поэзии и четырех книг прозы. Лауреат многих литературных премий. Живёт в Нижнем Новгороде.

Проступает бессмертное слово
Не на час, а на все времена.
Это время колосьев свинцовых,
Золотого сухого зерна.

Гулкий звук пионерского горна
Возвращает в свою колею,
И тяжёлые плотные зёрна
Тяжко падают в землю свою.

Голубые партийные ёлки.
В небе — облака белый тюрбан.
Это мальчик в дырявой футболке
В пионерский стучит барабан.

Чувство локтя и верного друга
Под советским асфальтом растёт,
Не с того ли хлорозная выюга
По артериям детским, упругим
Леденистый несёт кислород?

Не с того ли сгущаются тени
С каждым мигом темней и темней,
Не с того ли краснеют колени
От ожогов крапивы моей?

Грош цена мне, коль ловкую стаю
Точных слов, что смелы и горды,
Как наследство отцов, промотаю
С гулким вихрем проточной воды.

Грош цена, если быстро, проворно
Сноп не свяжешь умелой рукой,
И тяжелые, тёмные зёрна
Белоснежной не станут мукой.

В упоительный час обмолота,
Необычной судьбы господин,
Ощутишь неземную заботу —
Быть со словом один на один.

* * *

Листва кружевная на влажном ветру
Трепещет... Кому и зачем это нужно?
Подумаешь вкратце: «Я тоже умру
Под ветром упрямым, таким безоружным.
Умру и забуду слепую листву,
Забуду на тухлой воде водомерку,
Болотную эту забуду траву,
Я стану ничем, и вставать на поверку

Мне незачем будет — ведь я не живу».
 Неужто такой он — вселенский покой?
 Бесчувствие, тлен, и не надо стремиться
 Уже ни к чему... Он безмолвный такой,
 И только безумные альфа-частицы
 От гамма-частиц отлетают с тоской.
 К чему же нелепые эти слова
 И сдвоенных строчек тугие созвучья,
 К чему ты тогда, кружевная листва,
 К чему вы, сухие и острые сучья,
 К чему это всё, если смерть не права?
 И всё ж остаются азот, кислород
 И вы, единичные атомы серы.
 Такой вот естественный круговорот.
 ...Безумный жасмин так вальяжно цветёт,
 Он белый, зелёный и счастлив без меры.

* * *

Ты оставишь на память потомку
 Кривобоюю нежную кромку
 Льдистых, пористых мартовских луж.
 И поскольку ты с ним не лукавишь,
 Ты стихи свои тоже оставишь —
 Вдохновеньем отрезанный куш.

Ты оставишь читателю даже
 Цвет небесных мучительных скважин,
 Слабогрудый огарок свечи.
 Пусть читают армяне, евреи,
 Депутаты, бомжи, лиходеи
 Эти дактили, эти хорей,
 Что рождались в валютной ночи.

Слово ранит, но слово и лечит,
 Не ложится ни в чёт и ни в нечет,
 Слово вроде тоски стержневой,
 Где ничтожны сюжет или тема,
 Лишний шелест, немая фонема.
 Это реки из крови живой.

Места силы и гении тамошних мест

Полевые исследования

Речь не про аномальные зоны, истончающуюся реальность и биолокацию. И не про лозоходцев, проповедников фэншуй и шаманов. Задача, поставленная «ДН», и проще, и сложнее: вывести читателя за пределы условного Садового кольца, чтобы рассказать об интересных и важных местах культурной жизни «нестоличной» России и людях, благодаря которым они существуют.

В разговоре принимают участие:

*Ксения АКСЁНОВА, Анатолий ВАЛЕВСКИЙ, Александр ГРИГОРЕНКО,
Ольга КЛЮКИНА, Константин КОМАРОВ, Игорь КОРНИЕНКО,
Илья КОЧЕРГИН, Яна-Мария КУРМАНГАЛИНА, Ната СУЧКОВА,
Дарья СЕЛЮКОВА, Виктор ЧИГИР.*

Ксения Аксёнова, поэт (г. Липецк)

По четвергам в «Эккле»

В 2005 году небольшая группа молодежи — можно сказать, что-то среднее между молодежной тусовкой и христианской общиной — загорелась мыслью когда-нибудь до настоящей общины дорасти. Так образовался православный клуб города Липецка. Он ведет начало с еженедельных собраний по четвергам в помещении при Христо-Рождественском храме. Идейними вдохновителями стали отец Алексей Кодратюк, отец Димитрий Струев, отец Алексей Диагенов. Потом молодежный клуб перерос в общину, появилось и здание храма для нее, и название, заимствованное у одной из ветхозаветных книг: «Экклезиаст». «Экклезиаст» переводится как «собиратель», «собирающий собрание», «призывающий в собрание». Под собранием верных подразумевается Церковь.

Кстати, в советские годы в здании располагался кинотеатр «Металлург», а в перестройку — стриптиз-бар. За сценой были изображены барышни в характерных позах, в центре самого зала находился шест. Когда экклезиастовцы туда в первый раз вошли, их фонарики выхватили граффити, изображавшие девиц. Один из священников тогда предложил первым делом этих барышень закрасить. Кто-то из ребят пошутил: «Батюшка, ну зачем же так! Мы им юбочки пририсуем, платочки — надо их воцерковить!»

Так вот, когда обрелся храм, деятельность этого клуба стала более серьезной, чем деятельность просто клуба, потому что появилось главное — то, что превращает «Экклезиаст» из тусовки в общину: евхаристическая Чаша. Храм посвящен иконе Божией Матери «Взыскание погибших». Перед этим образом молятся о вразумлении близких, попавших в беду. Отец Димитрий вспоминает: «Однажды мы, восстанавливая историю создания "Экклезиаста", вспомнили вечер первого четвергового собрания (а его дата была назначена наобум) и решили посмотреть, на чью память он пришелся в церковном календаре. Обнаружили, что это был вечер накануне праздника иконы Божией Матери "Взыскание погибших". Решение собрания "Экклезиаста" посвятить наш будущий приход этому образу Пречистой было единогласным, впоследствии оно было поддержано нашим правящим архиереем и епархиальным советом».

По четвергам в «Эккле» проходят чаепития и беседы. И хотя темы затрагиваются самые разные — от полифонизма пасхальных рассказов Чехова до глобальных проблем современного православия, — одно можно сказать наверняка: обсуждаются не сусальные лакированные картинки, а проблемные сюжеты — то, что действительно, как бы пафосно это ни звучало, экзистенциально важно.

Такое сопряжение духовного, культурного и философского начал дает разговор, в котором бьет благодатный родник живой мысли. Очень весомо здесь именно культурное начало — помимо ежечетверговых диспутов и духовных бесед, средоточием жизни молодежной общины стали творческие вечера поэтов и музыкантов. И в феврале 2011 года состоялся первый полномасштабный фестиваль друзей «Экклезиаста», который собрал таких исполнителей как Елена Камбурова, Елена Фролова, Андрей Анпилов, Сергей Калугин, Ольга Чикина, Вера Вотинцева... Фестиваль и поныне живет полнокровно — каждый год на него съезжаются музыканты, поэты, богословы, литераторы, которые создают атмосферу подлинного пиршества духа.

Казалось бы, что может интересующийся православием человек почерпнуть на светском концерте? Привычнее думать, что невоцерковленный человек заглядывает в храм, как в бюро треб и услуг. Но есть и те, кто приходит в храм, зацепившись за общение на фестивале или за слова песен. Ведь даже самые, казалось бы, далекие от прямого лирического высказывания тексты (если они настоящие, то есть состоялись как художественное явление) — это попытки нащупать духовный путь. Это те боль и надлом, та «хроническая ностальгия по чуду», как писал Башлачёв, которые побуждают мыслящего человека к поиску.

И конечно, когда я думаю об «Эккл-фесте», мне на ум приходят строки Пастернака:

Жизнь ведь тоже только миг,
Только растворенье
Нас самих во всех других
Как бы им в даренье.

Это такое общее «растворенье» гостей, друзей и участников фестиваля в творческом и духовном общении. Это время ценных бесед, долгожданных встреч, удивительных открытий.

Один из героев христианского писателя Честертона как-то сказал: «Я не отрицаю того, что священники нужны, чтобы напомнить людям о предстоящей им смерти. Я лишь утверждаю, что человечество в некоторые странные эпохи требует жрецов другого рода; их называют поэтами; они должны напоминать людям, что те еще не умерли, а живы». И фестиваль друзей «Экклезиаста» — живое подтверждение этой мысли.

Анатолий Валевский, прозаик (г. Усинск)

Хочу в Усинск

Если у вас есть желание почувствовать вампирскую энергетику утреннего метро, прелесть вечернего столпотворения часа пик, духоту летнего асфальта и нерезиновость города, — поезжайте в Москву. Цените готику средневековья, теплоту блеска янтаря и холодность Балтики — вам в Калининград. Без ума от четких и строгих бело-синих форм растреллиевских дворцов и английских парков — только в Питере ваша душа насытится этим сполна. Цените безукоризненную чистоту широких проспектов — прямая дорога вам в Минск. Хотите спокойно и чинно побродить по узким улочкам — вас полностью в этом удовлетворят старинный Ярославль и Рязань; прельщает городская чопорность линий — Казань вам в помощь.

Но если ваша мятущаяся душа жаждет легкости и безмятежности, романтической мечтательности с любимой книжкой на лавочке — лучшего места, чем Рябиновый сквер у памятника его величеству Книге, созданный по инициативе руководства местной пожарной охраны в столице комариного рая, небольшом северном городе Усинске, наполненном жизнью белыми летними ночами, не найти. Всё, что надо для жизни, находится рядом, под боком.

Музейно-выставочный центр «Вортас» на улице Парковая удивит искушенного путешественника богатыми палеонтологическими и этнографическими экспозициями, живописью, графикой художников местных и Республики Коми, познакомит с коллекцией выдающегося художника-иллюстратора и мультипликатора, Народного художника Республики Коми Василия Игнатова. Особое внимание жителей города к выставочному центру — в период выставки молодых художников, которые ежегодно на Рождество проводит школа искусств.

Центр «Вортас» полтора десятка лет назад организовал (на собственной базе) литературное объединение «Северная лира». Созидательное содружество писателей города долгие годы выпускает литературную газету «Морошка», в которой публикуются местные авторы. Литераторами проводится объемная работа с творческой молодежью города, члены «Северной Лиры» принимают участие в поэтических конкурсах: городском — «Пасха Красная» и республиканском — «Сретенские встречи». Многие члены «Северной Лиры» по праву становятся их лауреатами и дипломантами.

Невосполнимой утратой для всех стала гибель в июне 2023 года участника СВО поэта, прозаика, общественного деятеля, члена Союза писателей России, старшего сержанта Николая Попова.

Север без комаров — что липа без пчел. Приезжайте летом, и вы поймете всю боль, страдания населения, но в то же время испытаете уважение к крылатому хищнику и обязательно посетите и полюбите скульптуру «Комар». Без этой достопримечательности Усинск не Усинск — как блистательный Санкт-Петербург без своего Медного всадника. Идея студентов филиала Ухтинского государственного технического университета воплотилась в сборной металлоконструкции с элементами литья и художественнойковки. Скульптура снискала статус культурного достояния. В городе установилась интересная традиция: одевать железного Комара в новогоднюю одежду: красную или синюю. Решение принимается простым большинством через систему городского голосования.

Выходной день с термосом крепкого кофе на культурно-рекреационном объекте «Тропа здоровья», растянувшимся на несколько километров, — это повод не только отдохнуть на уютных лавочках, подышать свежим воздухом, послушать пение северных птиц, покормить шастающих в поисках орешков белок, но и — насладиться тихой прогулкой, неспешной пробежкой или катанием на велосипедах под колокольный звон храма Воскресения Христова с уникальным фаянсовым (керамическим) иконостасом.

Усинский дворец культуры — одна из лучших площадок культурной жизни в Республике Коми, главная концертная зона города. ДК — это сплоченный профессиональный и дружный коллектив под руководством Эльвиры Флюоровны Хохловой. Это творческое поколение усинцев, а еще — это одна семья! «Бебики» из образцового хореографического ансамбля «Беби-Данс» под руководством Анны Евгеньевны Рогозиной покоряли не только московские вершины, но становились лауреатами и дипломантами международного уровня. Держит такую же марку и «Студия СЭТ» под руководством Елены Сергеевны Гольшовой — хореографический коллектив, очаровывающий публику современными, экспериментальными постановками танцев.

Яркой чертой культуры города является его многонациональность.

Молодые и амбициозные зубастики, стремящиеся к знаниям, будущие технари и медики покоряют высоты городского лица, который славится своими традициями и учебными результатами.

Усинск — город маленьких приятностей. В прошлом году администрация города закупила три зимние автобусные станции — комплексы оснащены тепловой завесой, двумя камерами видеонаблюдения, декоративной подсветкой и установленными usb-разъемами для подзарядки мобильных телефонов. Они уже стали городской достопримечательностью. Зимой в них можно спрятаться от мороза, а летом укрыться от солнца и комаров.

Самое главное, чем славятся усинцы, — это безграничная любовь к своему городу, бережное отношение друг к другу.

Приезжайте в Усинск — нефтяную столицу Республики Коми, не пожалее. Увезёте с собой оленью колбасу, варенье из морошки, зеленецкую тушёнку и прекрасные ликёрные наборы.

Александр Григоренко, прозаик (г. Дивногорск)

Плотина

Был у Деда «Москвич», почти мой ровесник — семидесятого года выпуска. Оцинкованный кузов, хромированные колпаки, сиденья, сделанные на диванной фабрике, руль, на вид будто для дамских пальчиков, а на проворот — как жернов... И еще была коробка передач — рычаг, само собой, увенчан розочкой в стекле, — общий язык с которой находил только владелец — т.е. мог нащупать с первого раза первую, вторую и заднюю. А я — нет.

Дед учил меня вождению, и поскольку происходил он из той эпохи, в которой жить означало выжить, а учить — ругать, то учеба эта, по сути, являла собой вдохновенный Дедов монолог о нелепости моего появления на свет и бессмысленности

пребывания на нем. Дед не понимал, и, видимо, искренне, почему один человек не может того, что может другой...

Машина заглохла (в который раз?), и Дед сказал — на удивление мирно — «выйди, отдохни», и сам вышел. Перед нами была она — Плотина. Дед видел ее каждодневно сорок пять лет — от зачатия (перекрытия Енисея) до нынешнего облика — но в ее присутствии менялся. Так меняются грубо и просто воспитанные люди в присутствии детей и святынь — Плотина была для него и тем и другим. Он даже сказал тогда — так говорили усатые благообразные рабочие из старого кино, передавая жизненную эстафету молодым: «Ну, сынок, что тебе рассказать, объяснить...» И трудно было узнать в нем того, кто еще минуту назад крыл тебя шоферским матом, монолитным, как бетон Плотины, — а она, говорят, выдержит прямое попадание атомной бомбы...

Дед родился под Брестом, ребенком видел, как немцы жгли деревни; после войны, спасаясь от голода, семья его перебралась в Сибирь, Дед пас чужих коров за кружку молока, ходил в домотканых штанах, собирал ягоды, и мать носила их продавать на станцию... А потом, как и тысячи таких же, как он, поехал строить Красноярскую ГЭС.

Плотина дала ему всё: от квартиры-гаража-дачи и «Москвича» (классический набор обеспеченного советского простолюдина) до самоуважения, почета, смысла. Дала причастность к мировому делу — ведь Плотина была крупнейшей на планете, посмотреть на ее рождение приезжали все великие и высшие: Гагарин с друзьями, народные артисты, люди доброй воли из соседних полушарий, не говоря уж о товарищах из Политбюро и ЦК. Кроме того, Плотина удостоила его чести построить в придачу к ней целый город, где до середины 90-х оставался только один объект, к которому Дед, автокрановщик по специальности, не прикасался, — деревянный сортир за автостанцией, его уж давно снесли...

Деда пять лет как нет на свете, туда же отправилось почти все его поколение. Один из немногих оставшихся, пришибленный рыбалкою старичок, постоянно заплывает на лодке под опоры моста, что перед самой Плотинкой, — там ямка, клюет лучше: охрана ему орет в мегафон «запрещено» и «немедленно покинуть», а старичок отвечает мегафону, что он здесь все построил и потому идите на... Штрафы его также не останавливают.

Дивногорск благодаря Плотине стал единственным малым городом России, попавшим на банкноту — десятирублевку: ГЭС хоть и называется Красноярской, находится на его территории. Для нынешних сугубо местных, с уходом поколения первостроителей, почти вся ее мистика выветрилась, они там просто работают и, как положено на всякой работе, поругивают начальство. А вот не местные — и, похоже, все, откуда бы ни были, — стремятся к ней как мотыльки на свет, фотографируют ее и себя на ее фоне. Для них даже построили особую смотровую площадку, ибо в некоторые дни граждане виснут гроздьями на берегу, особенно когда Плотина грохочет водопадами, сбрасывая излишек «моря»...

В Венеции я видел, как за окном одного из домов сушились на веревке трусы и майка, и этот отрезвляющий символ обыденности заставил подумать о том, что, наверное, есть человек, для которого Сан-Марко и прочее — не такое уж чудо, и, вероятно, он в глубине души не понимает миллионы тех, кто платит большие деньги, едет через полмира, чтобы только взглянуть. И этот человек, если он существует, видимо, беден, как и я.

И Сан-Марко, и Плотина созданы не для обыденности, а чтобы красотой и мощью вытаскивать из нее. Неофиты чувствуют это лучше и ярче, потому и тянет их в наш городок. И, слава Богу, они не переводятся.

Ольга Клюкина, прозаик (г. Калуга)

БОГИМОВСКИЙ САД

...А мне ужасно хочется писать, как в Богимове, т.е. от утра до вечера и во сне.

А.П.Чехов

Художники любят ездить на пленэры, а писатели чем хуже? Почему бы нам тоже не устроить пленэр, только литературный?

Так решили несколько калужских писателей и стали развивать эту тему. Итак, нужно собраться где-нибудь на природе (от французского *en plein air* — «на открытом воздухе»), например, выехать в какое-нибудь связанное с литературой красивое место и написать там по рассказу или эссе. Пусть они будут совсем короткими, в несколько строк, и не то чтобы с натуры, а о чем угодно, зато — на свежем воздухе, без компьютера, только лист бумаги и ручка.

О чем писать? А вот это как раз не важно. Чехов говорил, что писать можно о чем угодно, хоть о пепельнице. «В жизни нет сюжетов, в ней всё перемешано — глубокое с мелким, великое с ничтожным, трагическое со смешным», — уверял он. Ну, и опять же, если вспомнить про всем известную краткость — сестру... Точно, Чехов! Литературный пленэр лучше всего провести в чеховском месте, и ведь такое есть всего в сорока километрах от Калуги.

В усадьбе Богимово Калужской губернии Антон Павлович Чехов провел всё лето 1891 года, написав здесь повесть «Дуэль», рассказ «Бабы» и работая над сахалинскими материалами. Сначала Чехов нанял для семьи летнюю дачу вблизи Алексина, но она оказалась не слишком подходящей, и тогда...

«Ликуй ныне и веселися, Сионе... Я познакомился с неким помещиком Былим-Колосовским и нанял в его заброшенной, поэтической усадьбе верхний этаж большого каменного дома, — писал он Александру Суворину. — Что за прелесть, если бы Вы знали! Комнаты громадные, как в Благородной собрании, парк дивный, с такими аллеями, каких я никогда не видел, река, пруд, церковь для моих стариков, и все, все удобства...»

Итак, нас восемь человек, приехавших в село Богимово Ферзиковского района Калужской области — поэты и прозаики разного возраста, таланта и степени известности, но с общим, как шутил доктор Чехов, «писательским неизлечимым зудом». Осталось выбрать для литературного пленэра вдохновляющее место, которое всем бы понравилось.

Небольшой сквер возле бюста писателя не подходит: очень уж Антон Павлович выглядит официальным в застегнутом на все пуговицы каменном сюртуке, и старше своих лет. А ведь в счастливое Богимовское лето Чехову исполнился всего тридцать один год: он был молод, весел и полон сил.

Его младший брат Михаил вспоминает: «Брат Антон занимал в Богимове бывшую гостиную — громадную комнату с колоннами и с таким невероятных размеров диваном, что на нем можно было усадить рядком с дюжину человек... Каждое утро Антон Павлович поднимался чуть свет, часа в четыре. Напившись кофе, Антон Павлович усаживался за работу, причем всегда писал не на столе, а на подоконнике, то и дело поглядывая на парк и на поднимающийся за ним горизонт...»

А в перерывах между работой Чехов ходил в лес за грибами, ловил карасей на пруду, гулял по парку. В принципе, все это и теперь есть в Богимове: мелкая и шустрая

речка Мышега, левый приток Оки, вековые сосны и дубы. Правда, карасиный пруд пересох и парк зарос кустарником. Вроде бы и чеховские места, если следовать описаниям, но слишком задичавшие, не дачные, довольно унылые. Под стать барскому дому, где больше ста тридцати лет назад Антон Павлович в комнате на втором этаже писал, устроившись на подоконнике. Эту комнату спустя пять лет он вспомнит в своем знаменитом рассказе «Дом с мезонином».

Но теперь обветшавший до неузнаваемости барский дом давно закрыт на замок. А когда, вдобавок ко всему, у него провалилась крыша, заходить в аварийное здание стало вообще опасно для жизни. Когда-то, в перестроечные времена, в Богимове собирались открыть музей Чехова, и дело было почти решенным, оставалось только выселить психиатрическую больницу, разместившуюся в бывшей усадьбе. А потом всем как-то стало не до культурных центров...

Нет, устраивать литературный пленэр с видом на руины как-то не в духе Чехова. Ну, конечно, сад! Надо идти в сад! Как там в первом абзаце «Дома с мезонином»? «Он жил в саду во флигеле, а я в старом барском доме, в громадной зале с колоннами, где не было никакой мебели, кроме широкого дивана, на котором я спал, да еще стола, на котором я раскладывал пасьянс...»

Одноэтажный флигель конца XVIII века в стиле классицизма, как ни странно, в Богимове сохранился, и сад возле барского дома есть. Пусть он не вишнёвый, а яблоневоый, зато молодой, светлый — самое место осваивать технику создания полностью готовых картин (рассказов, эссе) на природе при естественном освещении (гения Чехова).

Каждый из нас облюбовал в саду свою яблоню, договорились встретиться через два часа и устроить читку. Темы вытягивали по жребию, написав на листочках названия чеховских рассказов. Мне досталась «Встреча весны», как название этюда на пленэре.

В Богимовской усадьбе Чехов прожил с 18 мая по 4 сентября и сообщал в одном из писем, что «цветут сирень, яблони». За лето яблоки, как и сейчас, успели созреть. Но я не хочу писать о весне и яблонях и, прислонившись к стволу, начинаю думать о чем-то своем. Как сказал бы с улыбкой Антон Павлович, «мой мозг машет крыльями, а куда лететь — не знаю...»

Главное, есть адрес, куда вернуться: Богимовский сад, литературные мастерские под открытым небом имени Чехова, вход открыт для всех.

Константин Комаров, поэт, литературный критик (г. Липецк)

ДомиК

Начну слегка издалека. В 2013 году мне довелось рецензировать весьма примечательную книгу — «Поэтический путеводитель по городам "Культурного альянса"», где подборки стихов нестоличных поэтов сопровождалась их рассказами о собственных «местах силы». В той рецензии я писал: «Что касается самих "мест силы", то их разнообразие еще более разительно. Тут и реки, и пруды, и парки, и кладбища, и улицы, и дворы, и мосты (их особенно много), и заброшенные больницы, и трамваи, и "совершенный лес", и "территория чудес", и весь город целиком — вплоть до любимого дивана (вот уж неоспоримое место силы!). "Местом силы" может выступать даже время года (конкретно — весна). Так, книга целиком и полностью подтверждает высказанную в предисловии мысль, что "Россия — это не только парадные дворцы и

баньки с пауками". Есть "места силы" — "темные", наполненные подлинно готическим колоритом (овраги, кладбища, свалки и т.д.), а есть, напротив, — светлые, связанные с романтикой и чистотой, с культурой (как, например, Университетская библиотека в Ростове-на-Дону или середина Сенной площади в Питере — "самое литературное место на планете", или весь Саратов — "культурный центр духовной жизни")».

Привожу эту цитату к тому, что у человека пишущего диапазон значимых мест чрезвычайно широк, и далеко не все они связаны с литературой. Так и у меня в этот список попадают и перекрёстки (Малышева-Восточная в родном Екатеринбурге, даже в стихах воспетый), и парки (например, екатеринбургский же парк Энгельса). А уж пресловутый диван — это вообще святое.

Но рассказать хочется о месте как раз литературном, а именно — о екатеринбургском Доме писателя. Это уютный двухэтажный особнячок в историческом центре города, на улице Пушкина, 12 (адрес для многих местных писателей заветный, сакральный и сакраментальный; выходил в своё время и довольно представительный альманах с таким названием). Дом писателя (или «домик», как его ласково именуют между собой постоянные «жители») — небольшое здание с большой историей, полной удивительных коллизий и перипетий. Чего стоит хотя бы сюжет отставания его в 90-е от облизывающихся на лакомую недвижимость в центре города бандитов. В вышедшей недавно уникальной в своем роде книге председателя Екатеринбургского отделения Союза российских писателей Арсена Титова «Краткий курс истории ЕО СРП» немало пропитанных живой болью, тревогой, надеждой страниц посвящены переменчивой судьбе Дома писателя.

Расположение домика именно на улице Пушкина представляется мне глубоко символичным, ибо в нем царит атмосфера истинно пушкинского артистизма, подкреплённого фантазмагорическими традициями сказов Бажова (Павел Петрович насыщенно и продуктивно проработал тут много лет). О пребывании в домике Бажова, а также замечательного и незаслуженно малоизвестного в масштабе России поэта-фронтовика Венедикта Станцева свидетельствуют мемориальные таблички у входа в Дом. А сам вдохновенный Пушкин в виде памятника находится в Литературном квартале (тоже место силы, включающее в себя несколько литературных музеев и Камерный театр), буквально через дорогу. Совсем рядом и Университет. Такая концентрация «вещества» поэзии и мысли не может не сказываться на жизни Дома писателя. И еще как сказывается.

Несмотря на то, что под писательские нужды (сиречь — пишу духовную) выделен только второй этаж здания (на первом располагается ресторан) — чувство простора и глубинной внутренней свободы сопутствует каждому переступающему порог Дома — рассматривающему в фойе постоянно обновляемые художественные экспозиции (екатеринбургские писатели и художники дружат крепко) или удобно устраивающемуся в «синем» зале, стены которого впитали в себя сотни мощных голосов современной словесности: от Игоря Сахновского до Томаса Венцловы, от Умки до Роберта Шекли. Мало кто из значимых литераторов, бывавших в Екб, миновал наш домик.

Громокипящее кипенье жизни в домике неостановимо: выставки, рок-концерты, спектакли, творческие вечера, презентации книг сменяют друг друга в прекрасной и яростной круговерти, движителем которой являются обитатели Дома — люди, составляющие его сердце, не просто работающие, но живущие его жизнью, отдающие Дому все силы, весь жар души и черпающие эти силы — оттуда же, из Дома. Здесь я не могу не передать сердечный привет главному массовику-затейнику домика и хранителю его уникального видеоархива Аркадию Курдюмову. Привет, дорогой Аркадий Валентиныч!

Чего греха таить, места дислокации некоторых писательских организаций в России напоминают саркофаги с литературными «мумиями». Екатеринбургу в этом смысле повезло несказанно, ибо наш Дом (в котором вполне мирно сосуществуют и

ЕО СРП и ЕО СПР) — живой, как сама жизнь (объективным признаком чего является количество тянущейся к прекрасному молодежи на мероприятиях, проходящих в домике).

Для меня Дом писателя — это действительно Дом (с большой буквы, но без ложного пафоса), куда всегда можно зайти и провести несколько часов (дней-недель-месяцев-лет) в духоподъемных, размывающих время и пространство, беседах за рюмкой чая с такими же странными и удивительными, как ты сам, людьми — коллегами «по музе, по судьбам». Дом писателя — важнейшая страница моей жизни: здесь произошло моё профессиональное писательское становление, здесь я обрёл друзей, единомышленников и читателей, здесь меня любят, ценят и понимают, здесь я равен самому себе, здесь я на своем месте. Именно здесь я лихо и радостно праздновал чтением Маяковского свои дни рождения. Именно сюда я в первую очередь приводил дорогих мне людей, и все они неизменно восхищались (Роман Сенчин, например, не даст соврать) — увиденным и услышанным.

Сейчас я — волею судеб — живу в другом городе, в котором у меня подобного места нет, не будет и быть не может. Да и не надо, потому что екатеринбургский Дом писателя — такой один, вне конкуренции.

Спасибо тебе, Дом, за высокую свободу стихийного творческого жеста, которая с 2005 года, когда я впервые переступил твой порог, поныне и навсегда со мной — через «рас-стояния, вёрсты, мили»!

Игорь Корниенко, прозаик (г. Ангарск)

Стихотворение длиной в сто лет

«Держись корней, небо ближе к тем, у кого корни под босыми ногами», — говорила бабушка в далеком бакинском детстве больше тридцати лет назад. Теперь за спиной вот уже четверть жизни в Сибири, в городе без моря и с далеким небом, и кажущееся невозможным — ну как преодолеть расстояние, равное годам, победить время? вернуть детство? счастливое прошлое? ушедших?.. — всё это стало возможным благодаря литературе, сочинительству, историям, что притянули юг к северу, Каспий к Байкалу, прошлое к настоящему...

Мне близки люди окраин, поселков, законсервированные, замороженные во времени, своем мирке, местами чудаковатые, с характером, но такие простые, добродушные и родные, как сама земля.

«Чёрная яма», Карачухур, так в переводе с азербайджанского назывался поселок, где я родился, из которого спустя четырнадцать лет вынужденно уехал, из Баку в Ангарск, в такой же поселок, далеко не копию, но здесь я нашел другую «яму» — рукотворный карьер с черной водой, — в которой не отражается солнце и, по местной легенде, нет дна, а есть проход в иной мир...

Тринадцатилетним подростком осознал, что любое место может стать твоим, тем самым, оставленным, потерянным... нужно лишь внимательно приглядеться широко раскрытыми глазами души — и вот уже вместо волн Каспийского моря — Кедровое море, стоит лишь забраться повыше, чтобы увидеть, как в ветреную погоду раскачиваются макушки могучих кедров, разбегаясь зелеными волнами, шумят, точно море, волнуются, штормят...

Земля прошита тайными невидимыми связями-нитьями, соединяя всё, всех и вся. Всё — дежавю! Уже виденное, уже слышанное, всё повторяется и повторяется... Ничто не проходит бесследно, и потерянное, при большом желании, возможно вернуть, уж какую-то частичку точно...

Я нашел часть июльского Баку в густой и липкой траве на берегу ангарского карьера, запахом, атмосферой, ощущениями — дежавю... Всё ясней и выразительней в ангарских друзьях-соседах обнаруживались мои, знакомые с раннего детства, дорогие сердцу бакинцы. Так история про Ангарск становилась историей про Баку... Бездомные комнаты ангарского общежития и поселок Кирпичный сплетались с домом среди виноградных лоз под южным солнцем поселка Карачухур, пропитанным запахом Вечности, запахом нефти и моря...

Все поселки похожи друг на друга людьми, например, в каждом найдется один, может, и с десяток, а то и сотня пишущих, сочиняющих... Чаще это поэты, и очень сильно похожие друг на друга, иногда и физически, но чаще внутренней составляющей: поведением, привычками, конституцией, мыслями, которыми всенепременно торопятся во всеуслышание поделиться...

Историю, которую не могу не рассказать, смело называю чудом, это история длиною без малого в сто лет...

История, связавшая две стороны бывшего Союза, стороны света, два края, прошлое с настоящим, ушедших с живыми...

Ангарская окраина поспособствовала рождению многих моих историй, одна из них связана с романом «Давай взорвём весь этот свет», в котором герой сочиняет стихи от лица женщины. Написанные истории — как выпущенные птенцы из гнезда, о некоторых можешь и не вспоминать годами... История же со стихами из романа имела продолжение и все еще продолжается в своей неразгаданной таинственности...

Оказывается, бакинская бабуля, три класса церковно-приходской школы, в свои шестнадцать лет (это 1930 год) писала стихи, с ошибками, корявым детским подчерком...

Одно из бабушкиных стихотворений и написал мой герой из романа спустя десятки лет, слово в слово, повторив даже бабушкины ошибки...

Поэзия и проза живут вне времени, для некоторых слов Вечность не страшна. Слова сильней Вечности. Все, что должно написаться, напишется! Все, что должно быть прочитанным, прочтется! Все, что написано от души и для души, рано или поздно найдет читателя. Читателя — и свое место на полке и в сердце. Слова стирают границы времени. Слова правят временем и Вечностью, и смертью... Для многих слов нет забвения, нет смерти, как для многих чувств, связей, отношений, любовей... Бабушкины стихи, соединившие несоединимое, прозвучали сквозь время, пространства, миры, объединяя, доказывая, что все мы связаны друг с другом, невидимо, но ощутимо связаны чудом, верой, добром и любовью...

Мне пришлось покинуть родину, уехать на другой конец страны, прожить здесь тридцать лет, чтобы написать в шутку стих точно такой, что написала бабуля почти сто лет назад, — что это если не чудо?.. Игры сознания, подсознания, место силы, дежавю...

Я же снова и снова вспоминаю бабушкины наставления держаться корней... Вспоминаю, мог ли случайно, в далеком-предалеком детстве увидеть или услышать эти строчки?.. Увидеть, запомнить и вычеркнуть из памяти на три десятка лет?..

Или все дело в силе места, в точке-кнопке, соединяющей несоединимое?.. Все дело в провинции? Провинции притягивающе-притягательной, неведомо-сказочной, всеобъединяющей, всеобъемлющей, как дежавю?.. Уже виденное?.. Мы — это повторение?.. Мы — слова, которые кто-то уже произносил?.. Вопросы, на которые каждый ответит по-своему, «как душе угодно», — сказала бы бабуля...

В одном уверен: мы — это чудо. Связанные одним для всех местом пребывания-проживания, провинцией с именем Земля.

Тонко —
Чувствительно тонко,
Изящно она обняла
Его загорелые плечи
И снова сказала: «Да».
Откинулась, стала светом,
Зажглась, загорелась —
Звезда.
Он грубо одёрнул:
«Кто ты?»
Она догорела,
Прошла.

Долго —
Чудовищно долго
Искала по свету одна
Его голубые озёра,
Покрытые снегом леса.
Бежала, спешила,
Знала,
Пропала она навсегда,
Его не найдёт
И сдастся,
По ветру развеется
Вся.

Преследуй того, кто собьётся
С назначенного пути.
Оставь, кто в любви признаётся,
Запутавшийся во лжи.
Прости, кто слезами ранит,
Сам заряжая ствол.
Беги, уходи кругами
От тех, кто кричит: «Постой!»

Илья Кочергин, прозаик (деревня Кривель, Рязанская область)

Я поведу тебя в «Предел»...

Для того, чтобы хоть немного укорениться в том (изначально чужом для нас) уголке Рязанской области, где мы выстроили свой дом, и где мы теперь, спустя тринадцать лет, прочно осели, мы старались исходить и изъездить ближнюю и дальнюю округу.

Что вспоминается в первую очередь? Что вспоминается достаточно регулярно? Какие точки на внутренней карте местности являются самыми яркими? Нет, всё не то, наверное, вопрос нужно поставить по-другому.

Что из увиденного помогло ощутить себя дома? Ощутить, что твой новый дом стоит посередине хорошего, красивого, годного для жизни мира?

Сначала это были безлюдные древние городища — Темгенёвское, Ижеславльское, Щучий Городок, Старая Рязань...

Странные места, где кроме оплывших, поросших дикой травой земляных валов не видно никаких следов человеческой деятельности. И вместе с тем здесь так легко

поймать настроение тех давних людей, которые основывали тут свои поселения. Со всех городищ ландшафт показывает себя с наилучшей стороны. Они теперь являются идеальными смотровыми площадками, организованными почти тысячелетие назад. Конечно, густые дубравы сменились распаханными полями, речки, наверное, во многом утратили свои песчаные косы и усохли, но панорамы продолжают впечатлять. Стоя на крепостных валах, думаешь — да, я хочу жить в этой местности, в этом краю.

Глядя на то, как серебрятся под ветрам изгибы Цны, Оки или Осетра, я могу помолчать рядом с людьми, жившими когда-то в огромном, малолюдном, враждебном, но необыкновенно прекрасном мире. То, что эти города давно опустели, не разрослись и не уничтожили природный ландшафт, сближает меня с теми, кто стоял здесь сорок поколений назад.

Разросшиеся города на спутниковых картах напоминают паршу на коже Земли, а умершие в древности — как ни странно — обещают хорошую жизнь новым поселенцам. Тем, для которых эта земля будет своей.

И мы спокойно поселились тут. На берегу ручья Кривелька, в верхнем течении которого тоже когда-то стоял маленький древнерусский городок. Его следов уже не осталось.

Чего же хочется потом, после того, как прочно и уютно вогнездилися в выбранном пейзаже? Когда вписал свой дом в толстые и высокие осокозя, в заросшие берега ручейка Кривелька, когда утвердил фундамент в пышном чернозёме и собрал с него же первые урожаи, когда организм пропитался текущей из этой земли водой? Хочется пригласить жену в театр.

И мы отправились за сто двадцать километров, через три районных центра в четвёртый районный центр в театр. Что значат какие-то сто двадцать километров для широких рязанских просторов? Поехали смотреть «Антигону» по Жану Аноу в скопинский театр «Предел». Антигона стояла перед нами на коленях и тшкетно, со слезами пыталась докричаться до нас. А потом, в бессилии перешла на французский. И все мы, сидевшие в зале, стыдливо опускали головы, смотрели виновато себе под ноги.

А спустя несколько дней эта же Антигона стояла на московских подмостках и получала поздравления и цветы, победив в международном конкурсе. И это был лишь очередной международный конкурс, в котором театр «Предел» стал лауреатом.

Театром уже тридцать пять лет руководит супружеская пара — режиссёр Владимир Дель и художник по костюмам Ирина Дель. Тридцать пять лет они выращивают в этом театре новые и новые поколения ребят, некоторые из которых навсегда выбирают профессию актёра. Собирают по округе народные костюмы, изучают традиции и обряды, заговоры, частушки и причитания.

В деревенской жизни есть моменты, когда просто необходимо садиться в машину и ехать за сто двадцать километров в театр. Представьте себе долгий-предолгий ноябрь или бесснежный декабрь, когда осокозя за окошком изо всех сил машут голыми ветками, отгоняя что-то нехорошее от твоего дома, когда неделю льёт дождь, превращающийся в ледяной дождь. Или февраль, когда солнца побольше, но тяжёлая одежда и обувь за зиму изменила твою походку и просто необходимо побыть хоть немного в узких ботинках и посмотреть на блещущие ложи. Тут главное — пробиться на машине до асфальта по жидкой грязи или наметённым сугробам.

А потом, через сто двадцать километров, за тремя районными центрами, Володя и Ирина Дели напоят тебя чаем, и ты будешь отмякать, разглядывая старые афиши, народные костюмы скопинского уезда, снующих вокруг ребятшек, которые, кажется, живут не только театром, но и в самом театре. Блещущих лож здесь нет, но ты, видимо, ехал всё же не за ними, а за чем-то более тёплым и важным.

Я вообще-то не люблю театр и всяческую театральность. Мне не нравится, когда меня веселят или пытаются заставить плакать, меня смущают жесты и позы, выверенные

паузы и режущий искусственный свет софитов. Но здесь я вполне расслаблен, сцена не настораживает меня, а настраивает на восприятие, здесь я доверчив и мягок.

Вот идёт спектакль по рассказу Петрушевской. Мужскую роль играет директор школы номер четыре, учитель русского языка и литературы. Женскую — работник, кажется Госстраха. А потом, после премьеры, мы садимся за стол, учитель русского языка и литературы достаёт приготовленную им вчера рыбку с лучком, шарлотку и закрытые ещё с осени грибки в баночке, разливает по рюмочкам коньяк.

— Вчера вечером иду, — рассказывает Владимир Дель, — вижу, выходит звезда наша с рынка. Несёт что-то в авоське. Что купил? — спрашиваю. Да вот мучки, маслица, рыбки купил, яблочек. Приготовлю к премьере шарлотку и рыбу пожарю. Вы попробовали? Вкусно же? Талантливый человек талантлив во всём.

Мы все пробуем рыбку (удивительно вкусную) и шарлотку (тоже удивительно вкусную).

— Вот так-то, дорогие мои, — продолжает Владимир. — Это называется — театр в маленьком городе.

Даже если ты уже полюбил местность, увидев её с оплывших земляных валов древних городищ, такой театр в маленьком городе — это совершенно необходимая вещь для того, чтобы хорошо чувствовать себя на своей земле.

Яна-Мария Курмангалина, поэт, переводчик (г. Одинцово)

Там, в прошлом...

О провинции у нас принято говорить либо критически, либо возвышенно. И сравнивать ее со столицей. Хотя — не только у нас. «Я всегда считал, что лучше быть провинциальной острой подливкой, чем жидким столичным супчиком», — писал Фицджеральд, по-своему перефразируя высказывание, приписываемое Цезарю («Лучше быть первым в провинции, чем вторым в Риме»). Но мы вспомним о том, что в свое время сказал Куприн: «Даже цветы на родине пахнут по-иному». Есть в этой цитате что-то такое, что близко лично мне.

Ранний вечер. За окном — рассеянное одинцовское солнце. В квартире тихо — идеальная рабочая атмосфера фрилансера. Я ставлю последнюю точку в статье, откидываюсь на спинку стула, закрываю глаза. Остальное делает воображение, позволяющее воспоминаниям оживать каждый раз, когда я обращаюсь к своему «омуту памяти».

Вот и сейчас память переносит меня в Сибирь.

Я иду по берегу реки Казым. Над черной водой плывут полосы утреннего тумана. Зудят комары, обязательные здешние попутчики. Пахнет лодочным бензином. На противоположном берегу частоколом выстроились древние реликтовые ели с редким вкраплением берез и рябин, по осени золотисто и рдяно расцветивающих монохром тайги. Ветер разносит дурмящий запах багульника. На одном берегу реки расположен маленький красивый город, не имеющий той древней истории, которая проступает в облике иных сибирских городов, таких, например, как Томск. Белоярский — город молодой, раньше бывший одним из множества поселков первопроходцев нефтяной и газовой промышленности в Ханты-Мансийском округе. И как у многих северных городков, образовавшихся в силу производственной необходимости, у него есть своя компрессорная станция, газовые турбины которой гудят, не смолкая ни днем ни ночью. К этому звуку, напоминающему далекий хор

голосов, тянущих свое монотонное а-а-а-а, привыкаешь быстро. Зимой он звучит отчетливо, летом — приглушенно.

Я поднимаюсь с берега в город, пересекаю утреннюю пустынную улицу, где нет ни одного прохожего, и вижу деревянную церквушку с серебристыми куполами. Ее желтые стены с естественными рисунками древесных годовых колец и замысловатой деревянной резьбой — блестят олифой. Маковка большого купола упирается в низкое северное небо...

Открываю глаза, переносусь в настоящее, на двадцать лет вперед. Достāju телефон, набираю номер своей белоярской подруги, с которой мы когда-то работали вместе. Она — инженер-строитель.

— Привет! Ты помнишь, когда сгорела деревянная церковь в Белоярском?

— Конечно, помню, — отвечает подруга, — в 2002 году, 8 марта. Так было жалко...

Церковь начали строить летом 1993 года. По проекту она была трехкупольной, имела форму креста и стала первой в Сибири, носящей имя преподобного Серафима Саровского. Строительство велось на пожертвования жителей; в октябре 1996 года деревянная церковь открыла свои двери для прихожан.

И вот, нате вам. Вспыхнула случайно, прямо в гендерный праздник. Сгорела в считанные минуты.

Это было горе...

— А мы тогда же стали строить новый каменный храм? — спрашиваю я.

— Да. Ну, не только мы строили, там были и другие организации города задействованы.

— Помню, как я отправляла туда технику и машины с материалами.

— Эх, столько лет прошло...

Каменный храм на месте сгоревшей деревянной церкви начали строить по благословению отца Дмитрия, архиепископа Тобольского и Тюменского, в мае того же года.

Мне было 19 лет, когда я приехала работать в Белоярский, и 22 — когда начали возводить каменный храм. Дождь ли, снег, лютый мороз или комариная жара, пропитанная болотными испарениями, — ничто не останавливало стройку. В сентябре 2003 года храм преподобного Серафима Саровского был освящен архиепископом. При проектировании строго соблюдались принципы «золотого сечения», новые архитектурные формы сочетались с традициями русского зодчества. Храм стал местом силы не только города, но и всего района: приход и сейчас активно занимается социальной деятельностью, поддерживает одиноких пожилых людей, живущих в комплексном социальном центре помощи населению, детей-сирот, малоимущие семьи.

— А тебе колокольный звон не мешает? — спрашиваю у подруги. — Ты ведь живешь рядом с храмом.

— Ну да, мои окна выходят прямо на него. К колоколам я давно привыкла. Даже странно было бы без них...

Эх, память... Как часто ты возвращаешь нас в прошлое. Вот я вижу дорогих людей, коллег, — кто-то так же, как я, уехал на большую землю, кого-то больше нет на свете. Вот — стою рядом со старой деревянной церковью с серебристыми куполами. Вот — прикладываю ладонь к белокаменной стене нового храма, теплой от летнего незаходящего солнца. Слушаю колокольный звон, от которого даже воздух становится переливчатым. Там, в прошлом, я в самую рань приезжаю на производственную базу, чтобы выпустить машины и строительную технику на линию. Зимой, в лютый мороз, когда заря не пробивает тьму полярной ночи, хожу по участку газопровода в тяжелой служебной куртке с логотипом предприятия на спине. Еду по зимнику на КАМАЗе. Ночью в минус 50 встречаю грузовую экспедицию...

— Алло, ты здесь? — говорю в трубку.

— Да.

— Я скучаю по тем временам.

— И я...

Ната Сучкова, поэт (г. Вологда)

Дом дяди Гиляя

Бывают места или проекты, которые поддерживаются как будто через силу. Созданные волей чиновников или функционирующие инерцией давно изжитой традиции, они воспринимаются как нечто фальшивое даже самими кураторами.

А есть места живые, такие, что помощи денежной и властной имеют самый минимум, а люди заглядывают, остаются, тянутся!

Про одно из них — Дом дяди Гиляя в Вологде — я и хочу вам рассказать.

Не потому вовсе, что в некотором роде придумала его я. Отнюдь! Не так и сложно что-то придумать — мало ли идей мы каждый день генерируем! — важно, что идея эта стала со временем самодостаточным и значимым для города проектом и теперь уже живет доброй волей и силами совсем других людей.

Началось все 10 лет назад, когда горстке единомышленников захотелось создать в Вологде литературную резиденцию. Это сейчас таким форматом никого не удивишь, а тогда и слова-то такого в нашем славном городе не слышали!

Пригодился мой опыт пребывания в одной из резиденций в Прибалтике. Идею озвучили на официальном мероприятии, написали проект и даже пустующий дом под это дело присмотрели. Но проект так и оставался несколько лет «бумажным» — гулял в кривых ксерокопиях по властным коридорам, пока...

Бойтесь своих желаний, они сбываются!

...Пока однажды, когда мы уже забыли совсем про эту идею, председателю нашего местного отделения Союза российских писателей не позвонили и не предложили — Дом!

Общественная организация писателей силами и средствами для ремонта и содержания старинного деревянного дома, да еще и в состоянии довольно ветхом, не располагала. Но мы согласились! Честь и хвала хрупким женщинам — Елене Волковой и Марине Гороховой, которые теперь создают там уют.

Дом Зернова в Вологде, где нынче располагается «Литературная резиденция "Дом дяди Гиляя"» — представитель вологодского модерна. Построен в далеком 1913 году. До революции там находился магазин аптекарских и фототоваров, позже — была даже пивная. Позже здание переоборудовали под детскую библиотеку, она проработала почти 80 лет! А после ее закрытия и нескольких лет запустения дом передали вологодскому отделению Союза российских писателей.

Название резиденции, понятно, неслучайно. И хотя наш знаменитый земляк Владимир Гиляровский никогда не бывал в этом доме, но рядом, наискосок, на той же улице Чернышевского, стоял когда-то дом его отца — не сохранившийся. Нам показалось правильным назвать свою резиденцию именем этого удивительного человека, который своим добрым нравом и простотой привлекал многих!

«Дом Дяди Гиляя» в Вологде, или «домик», как ласково его называют домочадцы, — это и литературный центр, и мультимедийный музей, и коворкинг для писателей, и, собственно, литературная резиденция. «Дом дяди Гиляя» — это стихи и проза, живопись и музыка, домашние спектакли, а самое главное — люди, которые заглядывают на огонек и остаются. Они становятся Дому добрыми друзьями и помощниками. Будете в Вологде — заглядывайте к нам, вам обязательно понравится!

Дарья Селюкова, прозаик (г. Белгород)

«Нора»: ВКУС ЖИЗНИ

Однажды даосский святой Люй Дунбинь присел отдохнуть у обочины. Он развёл костёр, поставил на огонь котелок и уснул под бульканье воды. Ему приснилось, что он сдал столичный экзамен, стал чиновником при императорском дворе, неприлично разбогател и женился на самой знатной наследнице. Прошло восемнадцать лет, дети его выросли, он дослужился до премьер-министра, но завистники обвинили его в преступлении, которого он не совершал, и вышвырнули из столицы. Жена бросила его, дети умерли от болезней, а сам он, жалкий нищий, испустил последний вздох в канаве...

...И проснулся. Всё, что он восемнадцать лет считал реальностью, было просто мимолётным сном, пока закипала вода. Так Люй Дунбинь познал тщету человеческой жизни.

Крутой кипяток обдаёт зеленый халат святого, пар поднимается из его рукавов. На лице старца застыла легкая улыбка, — да, он познал тщетность, но это его ничуть не огорчает. Ему прекрасно известна главная тайна жизни: что он — всего лишь глиняная фигурка, на которую Антон выливает прозрачный чай, «первый пролив».

И я, и ты, и Антон и даосские святые, и толстые глиняные лошадки, фарфоровые чашки, расписанные травами, и настоящие травы, заточённые в стеклянных банках, — вне времени. Время солнечного нашего дня осталось там, над нашими головами. Оно приходит туда, где есть окна: в «Норе» же вместо окон — свитки с видами далеких китайских провинций, навсегда застывших в самом живописном своём сезоне.

«Нора» — не бар и не кафе. Это — чайный клуб, где к дегустации и завариванию чая относятся как к искусству, а иногда и соревнованию (вон они, дипломы победителей на стенах). Каждый здесь слышит, когда ветер гудит в сосновых иглах, когда пузырьки становятся похожи на глаза краба. Каждый может рассказать про историю чая и знает, — возможно, чувствует в сменившемся ветре, — когда в горах Ханьчжоу приходит время собирать молодой лунцзин.

Напротив меня сидит Лида. Ее карандаш скользит по листу: она любит приходить сюда делать наброски, потому что за низкими столиками, на подушках, люди, непривычные к восточному ритуалу, сидят в искренне своих, привычных позах: сложных и в то же время расслабленных.

Лида не единственная художница здесь. Лида не единственная здесь с карандашом. Это место вообще любят хтонические «гатьки» — художники объединения «Гать»: и чаю попить, и мастер-класс устроить, и обсудить следующий проект. Они — глубинные, природные, им хорошо в подземной прохладе «Норы». Недаром первая их выставка была про болото — как память, по которой мы прокладываем гати. Память хорошо сочетается в безвременье.

За большой стол набился цветастый народ, внимательный и даже несколько торжественный: занимаются обычным здесь пятничным делом — трактуют сны по Фрейдю, по собственному внутреннему компасу, кто как умеет. Учатся рассказывать истории.

В «Норе» так мало места, что невозможно не услышать чужих разговоров. Здесь редко говорят о делах, оставляя их припаркованными у входа. Жизнь вообще — вот главная тема.

Наискосок от нас сидят ангелы. Все они одинаково стрижены под машинку, все озабочены мощью и выносливостью своих скрытых спортивными костюмами тел.

В «Норе» не принято ходить в обуви, и я не могу отвести взгляд от их носков, белейших, — обладатели их, верно, никогда не ступали на грешную землю. Да и для чего им? Они нисходят к нам спасаться от искушения: тут не подают ничего, кроме чая, ведь любая чужеродная текстура перебьет вкус.

Вкус — самое главное здесь. Если чем и отмеряется подземное время, кроме палочки благовоний, стоящей перед сияющим Буддой, — раскрытием вкуса.

Антон нежно согревает пиалу с сухим чаем в ладонях и передает по кругу. Вот цветы летнего луга оживают от тепла, но кипяток пробуждает иное: горький орех, сладкий мёд. Спроси любого, кто тут работает, отчего так, и тебе расскажут про химические процессы. Спроси, почему чай называется так, а не иначе, — и узнаешь легенду о крабе, обретшем святость. На каждый вопрос есть ответ, но не всегда он рационален. Такая жизнь.

По деревянной доске постукивают камушки го, создавая хаотичный узоры. Холодные остатки чая льются сквозь деревянную решетку. Высохли одежды Люй Дунбиня: он поправляет меч, висящий за спиной, обувается на маленькой скамеечке у входа. Кивает проездом оказавшемуся тут йогу, принявшему обет молчания, берет себе блин прессованного пуэра в дорогу.

Там, наверху, город укрыли синие сумерки: мамочки с колясками вышли на аллею, закрылись бархатцы у памятника Попову, и жужелицы, довольно цвиркая, вылезли погреться на теплом тротуаре.

Целая жизнь прошла, пока булькал в автоматическом чайнике кипяток. А потом мы проснулись, — немного другими.

Может, в пищерию?

Виктор Чигир, прозаик (г. Владикавказ)

Клуб с историями

Несколько лет назад во Владикавказе появился книжный клуб — и удивительным образом моментально вписался в культурный ландшафт города, заняв особую нишу, до него пустовавшую.

Книжный клуб Алана Цхурбаева — так он зовется в миру — это самоорганизующийся литературно-художественный салон. Раз в две-три недели он собирает любителей изящной словесности для обсуждения какого-либо заметного или несправедливо позабытого текста. Обсуждаются, как правило, произведения кавказских авторов, пишущих (или писавших) на русском языке. Рассказы, повести, реже романы. Все протекает в спокойной, доверительной обстановке. Участники делятся впечатлениями от прочитанного, пытаются сначала в одиночку, затем сообща добраться до сути произведения, понять, что автор намеревался вложить в него и насколько это оказалось удачным. Словом, происходит действие, которое один французский классик назвал роскошью человеческого общения. В наш век информационной избыточности подобный вид досуга стал для многих участников если не открытием, то, по крайней мере, поводом отложить на время смартфон и не просто пропустить через себя энное количество случайных бит, но и постараться как-то отрефлексировать их.

То, что клуб живет и здравствует по сей день, говорит само за себя: в нем нуждаются.

Главный редактор журнала «Дарьял» Алан Цхурбаев — основатель клуба и его бессменный ведущий. Человек в высшей степени литературоцентричный, Цхурбаев с самого начала ввел правило: никакой видеозаписи на обсуждениях, только живое общение. Тем самым в виртуальном пространстве книжный клуб присутствует исключительно в виде текстовых сведений общего характера да коротких фотоотчетов, а потому узнать о том, что там делается, можно лишь одним способом — побывав лично.

Примечательно, что клуб не имеет, так сказать, постоянной прописки. Встречи проходят в различных арт-пространствах, студиях, кафе. Цхурбаев объясняет это тем, что книжный клуб — не столько точка на карте, сколько люди. Сложно возразить. И в самом деле, кто, как не люди, собравшись вместе, создают структуру клуба? Причем создают всегда заново и всегда чуть иначе: ведь помимо постоянных участников на обсуждения приходят и новички, принося с собой свои слова, свои чувства, свой уникальный опыт. Этим, пожалуй, и дышит клуб — совокупным человеческим теплом, которое, если его вдруг разъять, мгновенно лишится всей великолепной сложности.

Нередко гостями клуба становятся авторы разбираемых текстов и тогда обсуждение органично совмещается с творческим вечером писателя. Несколько раз приглашенными гостями оказывались люди науки, встречи проходили в формате лекции. Клубом проводятся викторины, вечеринки, голосования — кого обсудить в следующий раз. Этой весной клуб вообще взял да и объявил конкурс рассказов, на который с готовностью откликнулось немалое количество пишущих людей.

Как полагается всякому хорошему начинанию, со временем клуб даже оброс историями и теперь ассоциируется главным образом с ними. Например, на одной из первых встреч, в перерыве между обсуждениями, двое участников подрались. Новость быстро разлетелась по местным пабликам и, все набирая обороты, закономерно искажаясь по пути, в конце концов добралась до федерального уровня — к тому моменту это была уже «массовая драка». А через пару дней об этой самой «массовой драке» с шутками-прибаутками упомянули в одной юмористической телепередаче по Первому каналу. Хотя забавного тут мало — человеку, на минуточку, разбили лицо из-за того, что он якобы не разделяет эстетических взглядов оппонента. (Ладно, отчасти все же забавно.)

Еще одна история связана аж с целым агентом спецслужб, который посещал собрания клуба под видом рядового участника и занимался сбором каких-то там сведений. Об этом он рассказал в интервью после того, как бежал в Америку. Чуть позже его совершенно загадочным образом сбил автомобиль, но все вроде бы обошлось — экс-агент выжил.

Не удивлюсь, если у клуба припасены еще анекдоты подобного рода, хотя и этих двух, как по мне, более чем достаточно — и для пиара, и просто для фактуры.

На сегодняшний день книжный клуб Алана Цхурбаева — устойчивое культурное сообщество. Оно на слуху, оно модно, и что-то подсказывает: это только начало. Наверное, можно заранее порадоваться, ведь книголюбов много не бывает.

Варвара Заборцева



О реке Пинеге

*Там, где небо чисто-чисто,
Где ночь белая лежит,
Между берегов тенистых
Речка Пинега бежит...*

Сколько себя помню, помню и реку.

Наша Пинега несет воды к Северной Двине, а затем вместе — к Белому морю. По берегам и угорам — дома, что видели не один ледоход. Полгода сугробами укрыты. Столько снега, столько талой воды ни одно море по весне не встречает. Потому и назвали его Белым — так я себе рассудила в детстве. Думала, ледоход для того и придуман: по весне собирать белизну с берегов и посылать в Белое море, чтобы оно не темнело.

Почему летом ночи белые, мне, маленькой пинежанке, тоже было ясно. В талой воде столько света накопится за зиму, что и в реке белизна остается, в море вся не уходит. В летние ночи Пинега белизной полнится — всю темноту разгоняет.

Разве плохо живется в таких краях? Полгода снегом сияет земля, полгода рекой освещается.

Наши берега давно облюбовали искатели рыбы, ягод и свободы. Край называется Пинежьем. Вдоль по реке селения: Сура, Веркола, Кеврола, Чакола, Кулогоры. Где-то сохранили храмы, а где-то — взорвали. Обезглавлен в тридцатые годы и родной поселок Пинега — долгое время уездный город, что старше Москвы на десять лет. Стоит между Архангельском и Мезенью. Между рекой и лесом.

*Жили-были пинежане
От дороги вдалеке,
Без делов-то не лежали,
Все в лесу да на реке.*

Река и дорогой была, и кормила, и характер воспитывала. Реку по-своему любили, оберегали, но и побаивались. Мало ли что учудит, как разольется — горя не оберешься.

Ярче всего город Пинега просиял полтора века назад. На весь мир славились пинежские купцы Володины. Фабрики, магазины, училище — все было, все росло,

Заборцева Варвара Ильинична — поэт, прозаик. Родилась в 1999 году в посёлке Пинега Архангельской области. Окончила Академию художеств имени Ильи Репина (факультет теории и истории искусств). Печаталась в журналах «Юность», «Звезда», «Новый мир» и других. Участница проектов СЭИП и АСПИР. Лауреат литературных конкурсов и литературной премии «Лицей» (2023). Живёт в Санкт-Петербурге.

В журнале «Дружба народов» публикуется впервые.

будто морошка на болотах, окружающих реку. Раньше я побаивалась болот, а теперь часто хожу. Особенно в августе — за брусникой, или зимой — по замерзшей воде. Бродишь-прикидываешь, что победит: стоячая вода или течение стремительное.

В последние годы Пинега-река то в дома по весне заходит, то мелеет до предела, то русло меняет. Своенравная она, да и мы, пинежане, — в нее. Задумаешь построить дом не где-то у леса, а именно на угоре, к воде поближе, а старожилы остерегают. Точит река берега, вертится, крутится. Была улица — нет ее. Поминай как звали. На глазах река дома за собой утягивает.

Может, потому и стала я побаиваться ледохода не меньше, чем когда-то болот. Не по себе, когда разливаются реки.

Что унесет за собой большая вода, в какие границы вернется река, долго ли в трещинах будет? Когда берега связаны, и на душе спокойней. Зимой по льду перейдешь, летом на лодке переплывешь, только берег выбирай — река не помеха. А вот ледоходная вода, она норовистая, любит берега разлучать. Только услышу капель, сразу мерещатся треск ледохода, ветер с реки. Вот из чего черемуха набирает цвет.

А черемухи у нас по берегу много. Прямо над самой водой черные ягоды — берег осыпается, а дерево до последнего держится. Каждое лето бежишь проверять, дотянешься ли до ягод.

* * *

Черёмуха, обрывистый угор,
И ягоды повисли где-то между
Рекой и небом, не достать рукой
Чернеющие ветки — как и прежде.

Так близко и бездонно далеко.
Погаснут гроздь с первым снегопадом.
Опять ничьи, но, может, через год,
Я подрасту и дотянусь до ягод.

Недавно увидела во сне дом с конем, что стоит на берегу Пинеги. Конем называют завершение стержневого бревна, на котором крыша держится. Пришлый не сразу узнает коня в скупых, но изящных линиях. Будто одним волевым взмахом вырезан силуэт — точеный профиль глядит на входящего, далеко глядит. Конь не просто венчает дом, а подхватывает его. Тяжеленная, без гвоздя положенная листовенница устремляется ввысь, вслед за конем. Воздвигали его на кровлю всей округой. Новый конь появился — значит, и жизнь, и семья. Нераздельным раньше виделся мир. Может, кони дорогу укажут, к цельности мира направят.

Раньше все берега деревянными конями оберегались, а теперь поискать нужно. В поселке Пинеге ни одного. Значит, мне предстоит его строить — так я рассудила утром. Уже начало положила.

Как построю дом на берегу Пинеги, вторым делом куплю лодку.

Все притоки освоить, в деревню наведываться, откуда моя фамилия. Ни от какого не от «забора» она. Поставили деревню за рекой, *за бором*, так и пошла фамилия. Поселились *за бором*, так и назвали деревню — Заборье. Раньше целая улица Заборцевых, а теперь...

Летом мы с папой ходили в Заборье пешком. Пешком Пинегу перешли, до того обмелела в том месте некогда судоходная река. Ходили фамилию забирать.

А набрали красной смородины.

Горстей не считала, но будто век не едала ягод. С собой никак не возьмешь, через реку, что ли, нести? Представила эту картину... только папу смешить. Вода выше плеч, а руки над головой — и полные красных ягод. Нет, смородине реку не перейти.

Пускай дома стережет. Нагретые белые окна. Рука сама тянется. Вожу пальцами по выступам, ладонью узор деревянный вбираю.

А когда-то из этих окон смотрели мир, большой и малый. Того гляди, разобьются окна, стекла по крапиве рассыплются.

А фамилия... нет, не достанется.

Вот и мечтаю теперь о собственной лодке. Вспомнятся красные ягоды — поплыла.

Если на веслах идешь, здорово песни петь. Мотор заглушит, а весла, вода ритм хорошо задают. Гребешь и слышишь многоголосье. Протяжное и... заунывное.

*А у нас во раю
Да жить весело,
Да жить весело...
Только некому.*

В Кулое, говорят, осталось семь хозяйств. В Крылово, говорят, уже лет десять не зимуют. А виды-то — со всей страны едут искатели северной благодати. По рекам сплавляются, грибные места с пинежанами осваивают, рецепты запоминают, пряники пинежские как гостинцы увозят. Раньше река помогала сплавлять лес, а теперь, видно, будет гостей встречать с пинежанами. Без дела не остается Пинега, это главное. В распутицу — неизбежную дважды в год — по-прежнему разливается. От леса до моря.

* * *

Море отлично знает
Запах сырого дерева.
Но мы строим и строим
Лодки.
И даже порой
Дома.

Живём между морем и лесом.
Ограниченно
И безгранично.
Окруженные зеленью
Реки
Пробираются к морю.
А там
Нет границ у воды,
Лишь деревья,
Что случайно выходят на берег.
Возвращает их мёртвыми ветками
Постепенно волна —
Земле.

Так и живём
Между лесом и морем.
Погранично
И будто на грани.
Рубим дерево,
Строим лодку,
Ловим рыбу
И там же тонем.
Проклиная и лес, и море.
Благодаря и море, и лес.

Как будет река Пинега жить, Бог знает!? А вот как жила, на земле известно.

Мою бабушку Люсю долго пытаться не нужно, любит она жизнь рассказывать. Свою и дорогих сердцу людей. Почти все они родом из деревни Кулогоры, что стоит на высоком угоре над Пинегой. Это сейчас школу разобрали, клуб — после закрытия — жители растащили, поля не кошены, волк по деревне ходит и собак таскает.

Чуть-чуть отмотать — и другие Кулогоры. Чего я буду пересказывать? Разве перескажешь пинежскую говорю — речь, у которой напевность не в слове, не в звуке сберегается, а в самом голосе говорящего? Нет такого языка — пинежского, не составить его словарь. Но речь пинежскую не спутаешь, если раз услышишь. Особенно если она озвучена женскими голосами. Каждая женка со своей судьбой, своим голосом. Потому и говоря своя выходит.

Пусть моя бабушка Люся сама расскажет про Кулогоры, про деревню, где я задумала строить дом с конем, смотрящим на реку.

Бабушка Марфа

Мать родила меня поздно. В тридцать шесть. Думала и не рожать вовсе. Да вот, Боженка меня сберег.

Дедушку Митрия помню. Хороший был дед, добрый, работяшский, кулак бывший. Дом наш построил. Без единого гвоздя, из ядреняшшей лиственницы. Век стоит и ишо век стоять будет.

А вот бабушки не помню, она рано умерла.

Была у меня неродна бабушка, да ближе родни. Жила на соседнем угоре Марфа Прокопьевна, но я ее бабушкой Марфой звала. Родня так не приголубит, как она.

Я была доска-доской, ребра пересчитать можно. Коровы не было, откуда жирку-то взяться. А бабушка Марфа скажет:

— Прибежи ко мне, Люсенька, я тебя тепленьким молочком козьим отпою.

Да все напечет чего ли. Жило или нежило тесто — бегом бежу к бабушке Марфе, до чего у ней вкусно. Тошно меня жалела.

В деревне ее прозвали Марфа-Полеушка. На одну ногу храмлет, а все за поля бегат, по грибы да по ягоды. А морошки у ней свое болото было. Никто не знал, откуда она столько ташшит из года в год.

По молодости, ишо до революции, говорит, работала *гувернанткой* у купцов Володиных, самых богатых на Пинеге. Говорит, таки наряды ей давали, фартучки, баски. Только было-то у ней три класса образования. Может, и не *гувернанткой* рбила вовсе. Просто слово новое услышала, больно понравилось, и захотелось так называться, кто ей знат. Главно, жила хорошо. Кормили вдоволь и не обижали.

Муж попался не больно ласковый. Двоих ребятишек родили. Муж рано умер, а она рано постарела.

Год за годом бабушка Марфа слепла.

Десятый десяток разменяла, что ты хошь. Все наошшупь делала. По пальчикам да по колечкам всех своих знала. Возьмет рученьку мою:

— Ой, Люсенька пришла, голубушка. Ой, как я рада! Как я рада! Шас соскочу.

И ведь мигом с печки соскакивала, вся хворь куда-то девалась. Раз на жердочку, на приступочек — и на полу. Худенька така, маленька. Рубахи льняные носила, *станом* звала.

Однажды мы позвали бабушку Марфу к себе пожить. Лена родилась, а мы с Николаюшком молоды, глупы. Говорю ей:

— Мы ведь, бабушка, хотим тебя к нам увести ненадолышко. Не поможешь ли ты с дочкой по первости?

— Дак что еще спрашивашь? К тебе-то я завсегда пойду.

Две недели жила. В кухне спала, ей там кроваточка отдельна, у печки. Все скажет:
— Анделы, мне у тебя кака лепота. Никто меня на матюги не посылат.

Ей уж к девяносто пяти было. Своих-то пять внуков и семь правнуков перенянчила. Но выручила.

Помню, на столетие шибко просила застоля не устраивать, а только подарить ей платок побаше. Косички ее тоненьки заплетаю, а она приговариват:

— Плети-плети, Люсенька. Да платочек-то поправь. Саввушка скоро придет, дожидаясь, голубчика.

Так она саван погребальный, любя, называла.

— Саввушка, а бывало, и Савелий Дмитрич.

Бабушка Марфа прожила сто четыре года.

И умерла накануне Рождества.

Матка

Сколько матку помню, она всегда была старая. На праздник какой ли все Кулогоры сбегутся в клуб, женки таки нарядны. Одна матка моя в фуфайке, в черной суконной юбке ниже колена. Платком завяжется, вся согнется. Из выходного только хромовые сапожки. Шибко берегла их.

Работала она на шлюзе. Выпускала корабли из Кулойского канала в реку Кулой.

Дак вот до шлюза пешком пять километров.

Меня хоть убей — ни за что бы не пошла в таку даль.

Бывало, и ночью на смену идет. Ни фонарей, ничего нет. Обычно, пожнями ходила, там дорога была. Весной канал разольется, она в гору подымается, сколько-то по лесу идет. Медведь у нас и в дома захаживат, а тут евонна территория. Боязно — не то слово. Однажды матку расспросила, дак она рассказала:

— Иду себе пожней. Темно, осень. Вдруг глаза светятся. Две пары. Собакам взяться неоткуда. Да и вон каки хвосты лягаются большашши. Сразу все поняла. Делать нечего, говорю: «Что уставились-то? Сейчас как бочины колом навожу, будете знать».

Они стоят да смотрят. Стоят да смотрят. Глаза светятся зелены. Матка палкой замахалась что есть мочи. Они и поднялись в лес.

— Мам, а если бы они тебя загрызли?

— Дак ведь не загрызли.

В передней избе всегда висела грамота «За долголетний добросовестный труд».

Тридцать три года отходила на шлюз.

Папа

Наши Кулогоры на пешшере стоят. Спелеологи часто заежжали. По соседству с нами домик немудреный сколотили, все к матке на шаньги захаживали. Как запах учуют, сразу из своих пешшер выползут. Самы вкусны шаньги у Евгеньи, это все знали. А нам с маткой разве много надо, вот она и угошшала, не жалеючи.

Одна геолошка, така дотошна, однажды меня спрашиват:

— Люсенька, а где у тебя папа?

— На войне погиб.

— А сколько тебе лет?

— Восемь.

А на дворе пейсят шестой год.

Брат

Был у меня брат.
Я его Валерием звала, все-таки на девять лет старше.
Это евонный отец на войне-то погиб. Евонны у меня и фамилия с отчеством.
Ох, если кто при нем обзовет меня неродной, как он наколотит наглеца. Так-то парень совсем не злой, но за меня любого укатушить готов был.
Стрась, как он книги любил. Матка все его ругала, что попусту керосин жгет.
А вот и не попусту. В первых из нашей деревни в институт поступил. Женки долго шушукались за спиной: «Что взять с нашей Еньки, а детей вон каких путних нарожала».
А у матки три класса образования. Только расписываться умела. Письма Валерию я писала.
Первое готовое пальто мне купил брат. Три месяца стипендию копил.
Привел меня в раймаг, говорит, выбирай платье и фартук на свой вкус. А откуда вкусу-то взяться. До пятнадцати годов меня деревня наряжала. То тетя Уська со своей младшей Нинки перешьет и отдаст. Ишо кто обносков отдаст. Так и выросла.
Выбрала платье с воротничком-стойкой и фартук кружевной.
На выпускном потом так и сняли меня. Даже ничего така, украсиста вышла.
Расплачиваемся уже, и вдруг ташшут охапками новые пальтухи. Я только посмотрела в их сторону, а брат сразу понял, какое мне приглянулось: зимнее бардовое пальто с рыжим пышным воротником.
Восемьдесят рублей. Цену даже запомнила. Готовое с фабрики пальто.
Раньше я мамыны перешивала. Воротник каракулевый искусственный. Подкладка смешняшша желтая.
А тут готовое фабричное пальто.
— Дак ты же всю стипендию истратил на меня? Как ты жить-то будешь, на что?
— Ничего, заработаю. Носи и не жалей.
Может, ему стыдно за меня было... вот и нарядил.

По людям

Как брат уехал учиться, я все по людям ходила.
Мама уйдет на шлюз в ночную, а меня с кем оставить? Вот и ходила то к одной женке, то к другой.
Больше всего мне хотелось, конечно, к бабушке Марфе. Но внук у нее, беда, нелюдимый был, а невестка того нелюдимей. Да и каки люди, своих ребятишек цела изба. Бывало, попаду к ним на ужин, усядутся все по порядку. Мальчонка какой сунет ложку в кашу первым, дак отец ему этой же ложкой как даст по лбу, только черепушка звякнет.
Иногда попаду на уху, тетка Параня предложит поварешку, а я из вежливости какой-то глупой первый раз откажусь. А она дважды не предложит. Знает, что у нас с маткой рыбаков нет, но дважды не предложит. Бабушка Марфа перечить не смела. Только припасала для меня чего ли. Зимой из погреба, летом из леса.
Потом стала ночевать у Валентины Митревны. Ейного дома уже нет, двухэтажный был. И она сама будто двухэтажна была на фоне других женочек. Все говорила:
— Иди ты ко мне. Зачем пойдешь к Марфе-то на морозе, эку даль.
У ней кровать железная. Рядом лавка. На лавку постелем пальтуху, чтобы не на голой лавке мне спать. Так и ляжем рядышком.
А она так храпела, беда. Как захрапит тонюсеньким голосом:
— Еееииииииееее.

И пела таким же голосом, беда, тонким. Помню, у матки на дне рождения запоют:

*Же-ердочка сломилася,
Шля-япочка свалилася-ааа,
Тут мой милый да у-утону-ул.*

Валентина Митревна как затынет, пишшит, и все тут. Она-то думат, что хорошо поет. Старается. А я уйду за печку и хохочу в рубаху.

Однажды я решила и сказала матке:

— Не хочу больше ночевать у Валентины Митревы!

— Пошто? — спросила matka, неся охабищцу дров.

— Пошто, пошто. Она больно громко храпит. И дует у ней от окошка.

— Ладно. Скажу, чтобы пустила тебя ночевать на полати.

— А я с полатей не упаду?!

На завтра мне был брошен какой-то тюфяк на полати. Я к самой стене прижмусь. Засну как-то.

Ишо к Наталье Ильинишне ходила. Тоже ма-аленька така ростиком, как бабушка Марфа, но она на зиму в город уезжала.

Каждо летечко мне что-то отдаст. То платье, беда, красивяшше — солнце-клёш. То сапожки свои старые отдаст, то туфельки в городе купит. Скажет: «Приходи-приходи, мы с тобой в карты хоть поиграем».

Начнем в солнышко играть, кружочком карты разложим, и она давай приговаривать:

— Ты кы-ы-ырыла и валила. Я кы-ы-ырыла и валила.

Да много, к кому ишо ходила. Как сейчас, голосочки их слышу.

Всей деревней ростили меня.

Солдатишко

А потом и одна ночевать стала.

Мне годов тринадцать было. Говорю, больше никуда не хочу ходить.

Мама все скажет:

— Ворота на запоре, повесть на запоре, назем на запоре. Уж никому к тебе не попасть. Повались, укутайся, надыши тепла-то и спи-знай.

Однажды зимой ждала маму. Ночь уже была, темно. Мороз — сорок градусов. Слышу, кто-то к нашему дому попадат. Я мала, еле-еле четырнадцать. Как раз мама должна воротиться. Подхожу к дверям:

— Кто?

— Пустите, пожалуйста, погреться. У меня все ноги отмерзли. Я только погреюсь и обратно уйду.

Мужской голос. Я с испугу давай воротить с три короба. Говорю, сейчас папу позову (которого у меня отродясь не было). Марш отсюда. Все-таки мужик незнакомый, а я одна...

Из окна смотрю, паренек пошел потихоньку. Еле ноги переставлят. На печи лежу, а он все из головы не выходит.

Немножко погода опят стук. По шагам слышу, matka идет, но как будто не одна. Заходит, и за ней солдатик.

Это шейсят первый год. У деревни военная база была, солдатики все дежурили. А привезут ребят со всего Союза. Южны пареньки совсем не готовы были к нашим морозам. Все околеют, бедные.

Мне так стыдно стало. Ему годов девятнадцать, наверное. Морозом тошнехонько напуган. Шутка ли, в кирзовых сапогах в экий мороз. Я сама в таких в школу ходила, знаю.

— Раздевай сапоги-то, положим на печку. Сейчас найду тебе каки ли портянки, намоташь-намоташь на ноги-то.

Сказала matka и дала ему свои валенки с печи.

Ночь в них и достоял, на утро ташшит обратно. Благодарит да благодарит matka. Тут я его получче и разглядела. Глазки чернюшши, волосы чернюшши. Усики только-только наметились, а их морозом нашим сразу-то и прибило.

Где он теперь, цыганенок? Помнит ли северны морозы? Помнит ли северну женку, что ноги ему сберегла?

Володя

«Все, Люсенька. Я уезжаю в Харьков. Насовсем. Дом сегодня продали».

С первых классов мы с Володей вместе. На всех фотографиях позади меня. А семья его — не северная, сослана на Пинегу с Украины. Отличался он от наших парней. Горячий такой. Глаз горит. Дело в руках горит. А я однажды в навоз упала.

У Валерки, лучшего друга Володи, на повети была большашша качель. Шестером-семером качаемся. Я сидела с краю. Внизу корова, навоз в кучу сложен. Все качаются хоть бы что, а я со всего маху как рухну в навоз.

Все хохо-очут. Смеху было, о-ой.

А мне так обидно стало, что качались все, а я одна в навозе сижу.

И тут Володя по-взрослому говорит:

— Ну все, товарищи, посмеялись и хватит.

И подает мне руку.

Когда постарше стали, так за ручку все и проходили. На танец всегда пригласит. Провожать до дому пойдет.

И кажется, будто я отпустила его руку только у того самолета на Харьков.

Он парень умный, будущий инженер. А мне что светило... Приданного нет. Недовеском я не хотела быть. А ему в деревне тесно. Да и родители его тошно на родину хотели. Можно было, реабилитировали.

А за мной пятый год ходил Николай. Не наш был парень, на тракториста учиться приехал в нашу Пинегу. Все поджидал меня у школы и всегда со стипендии покупал полкило конфет. Я ему как-то просказалась, что matka не разрешает даже подушечки купить. Он, видимо, запомнил. И в один день — трюфели. На завтра «Красный мак». Иногда «Белочку». Но покорил он меня не конфетами. Дровами свадьба наладилась.

Привезли нам с matкой дров. Николаюшко работу видел, говорить не надо. Понимат, что мы с matкой двурушной пилой пилить будем не один день. И пришел с «Дружкой». С этой «Дружкой» любовь и пошла крепчать. И matka моя страсть как полюбила Николая. И я на всю жись с Николаем. Он мне так и сказал:

— Я тебя, Люсенька, никому не отдам, как хошь.

Но как узнала, что Володя улетает, бегом побежала на взлетную под угол. Беременна уже была, с Николаем только поженились.

— Все, Вовка, ведь никогда больше не увидимся. Все. Больше никогда...

Один пьяница Степа подглядел нас. Сказал Николаю моему:

— А они ведь целовались!

Николаюшко все верно понял. И молча обнял.

Артистка

Я с малечка пела.

На все праздники номера готовили. Даже по деревням ездили. Я и сольно, и дуэтом, и в хоре. «Старый клён», «Ой ты рожь» пела. А в сценках мне всегда доставалась роль старухи, потому что больно хорошо по-старушечьи говорила. Весь клуб со смеху катался.

Сейчас от клуба остался один скелет. Все растащили: обшивку, шифер, даже печку по кирпичикам. А у нас в этом клубе вся молодость прошла.

Помню, брат приехал на Первомай.

В клубе концерт. Меня объявляют, и он как раз заходит. Глаз не сводил с меня.

Вечером matka говорит:

— Слушай, у нас растёт артистка. Я никогда бы не подумал, что Люська так поет.

Нужно было в культпросвет поступать. Брат повторял:

— Бери экзаменационный лист, и в Архангельск. Я тебя встречу, пойдем вместе в училище.

Но matka не спустила:

— Конечно, езжай, эка артистка. Давайте, все бросьте меня тут. Я и помру скорее, одна-одинешенька.

Куда мне деваться. Так и пошла зарабатывать копейку с восемнадцати годов.

Продавица

Я пришлась на эксперимент шейсят шестого года. Училась одиннадцать классов вместо десяти и сразу получила профессию.

С корочками продавца третьего разряда пошла работать в пинежский ОРС — отдел рабочего снабжения. Лес наш меняли на товары дефицитные, импортные. Тридцать три года отработала. Двадцать семь заведующей.

Вовек не забуду первую зарплату.

Два пододеяльника и швейную машину купила.

Стыдно было рассказывать, на дворе шейсят шестой год, а у нас с matкой ни одного пододеяльника не бывало. Простынь была ганковая. Толстая, серая, чтоб стирать пореже, и служила лет двадцать. Неспроста я в семь лет стрижена шариком наголо была, а после все с короткой стрижкой. Да вся деревня наша с косами шибко не расхаживала. Вшей беда боялись.

И вот я купила два пододеяльника. Голубой и рыжий, как сейчас вижу.

И машинку «Зингер». Сама нужна вещь, все хозяйство зашила-перезашила. Пейсят лет прошло, а до сих пор на ней шью.

А потом и зажили потихоньку. Обеих дочек наряжала. Самы нарядны в школе. Постельного наприпасала — ишо внукам на приданное хватит.

Всё-таки артистка

Но я все-таки пела.

Пела, а Николаюшко на гармошке подыгрывал. Он музыке-то сам выучился, нот не знал, все на слух подбирал. Николай мой с Вельска приехал, у них там все мужики — баянисты.

На каждом празднике ему покоя не дают. Играй, говорят. Он и так-то добряшший, а когда выпьет, совсем безотказный. Я уже и ругаюсь, с мужем совсем потанцевать

не дают. Покатались мы с ним по деревням да по клубам. На всех юбилеях желанны гости. А самые веселые праздники были — у нас. По два дня гуляем. А то и по три.

Подобралась же пара. Всю жизнь мы с Николаем пели да плясали. А вдвоем как будто и не были вовсе... друг для дружки и не пожил. Все в семью, дочкам. Все на людях и для людей.

Бабы горе

Теперь вот порхаюсь помаленьку, творю что-то по своей вере. В картах страсть кака азартна. И, говорят, храплю.

Чур быть, отзимовала. Оттепель — передавали по новостям.

Сей год зима снежная, метелистая, отродясь такой не помню. Только лопатой маши да дрова таскай, ветрами все тепло выдуют.

Все бы ладно, да сугробишке над сараями вырос, покоя не дает. Прямо над узенькой тропочкой, по которой я за дровами брожу, висит большашший ком снега. Белый-белый. Так и слепит. Все иду и остерегаюсь. Упадет — напрочь раздавит. Поминай как звали...

Я его и так и эдак. Никак не могу взбентить. Плотно уселся.

Вот ведь бабы горе како. И мужика-то нет поблизости. Одни старики, лентяи страшные, или на вахты разъехались.

Я-то надеялась на соседа Гришку. Не старый ишшо, крепкий. Все с женкой кофий попивал на крыльце, деловяшиши таки усядутся. А ихни ребятишки крышу сарая облюбовали, все там до холодов гнездились. Дак вот женка в город усвистала, он запил, ребятишек в детдом. Выкурнет Гришка раз в неделю и обратно в свою казематку.

Не знай, чем он печи топит. Тропочка-то у нас к дровам одна. Ни разу не встретились, все одна брожу.

Был бы мой Николаюшко, давно сбил бы этот сугроб. А у меня силенка-то в руках не та. Раньше сено ворочала, только курева шла. А сей год охалка дров, два ведра воды, и все, Люся, иди-ка на боковую. Полчасика вздремнешь, сил и прибавится.

Каждо утро сажусь чай пить, сухари мочу да на сугроб поглядываю. Растет и растет, неумный. Все больше на тропку наступат.

Того гляди рухнет.

Я хожу да приговариваю: все под Богом ходим.

Может, он меня и дожидается.

Сугроб-то этот.

Варвара Заборцева: МОЯ ПИНЕГА

Раньше все берега деревянными конями оберегались, а теперь поискать нужно. В посёлке Пинеге ни одного. Значит, мне предстоит его строить — так я рассудила. Уже начало положила.

Как построю дом на берегу Пинеги, вторым делом куплю лодку.

Все притоки освоить, в деревню наведываться, откуда моя фамилия. Не от какого не от «забора» она. Поставили деревню за рекой, за бором, так и пошла фамилия. «Поселились за бором», — вот и назвали деревню: Заборье. Раньше целая улица Заборцевых, а теперь...

** * **

Чуть-чуть отмотать — и другие Кулогоры. Чего я буду пересказывать? Разве перескажешь пинежскую го в ёрю — речь, у которой напевность не в слове, не в звуке сберегается, а в самом голосе говорящего?

Нет такого языка — пинежского, не составить его словарь. Но речь пинежскую не спутаешь, если раз услышишь. Особенно, если она озвучена женскими голосами. Каждая жёнка — со своей судьбой, своим голосом. Потому и говоря своя выходит.



Река Пинега в белую ночь



Дом с конем. Веркола, родная деревня писателя Федора Абрамова.



Неприкаянный дом без коня, деревня Кулой



Брусника с беломошника



Деревня Веркола поёт. Застолье



Юные прихожане в часовне Троицы Живоначальной,
что построена на месте взорванного Свято-Троицкого собора



Над рекой Пинегой



Бабье горе – сугробы свисают с крыш



Нежilое тесто – калитки на ржаной муке



Жилое тесто – дрожжевое



Людмила Акиньхова, моя бабушка. За спиной фотография дедушки
Николая с баяном в руках



Пинежские пещеры. На пещере стоит и деревня Кулогоры



Пинега-река накануне ледохода

Ирина Краева

...А бог в тебя верит!

Недавно узнала: восклицательный знак в давние времена называли удивительным. Вот таким удивительным знаком вознеслась ввысь в простершемся на несколько километров селе Малые Ягуры церковь Архистратига Михаила. С какого края этого ставропольского села ни посмотреть — золотой купол звенит солнцем. Молодой купол — без малого три года прошло как митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл совершил чин великого освящения храма.

Слово «ягуры» в названии села в переводе с татарского означает «жеребцы». Соответственно, малые жеребцы — это жеребята. Но некоторые местные ребята, хитро пришурившись, будут вас уверять, что ягурами в старину называли только что родившихся ягуаров, и они сами, юные ягурчане, обладают волшебной силой этих могучих зверей. Вообще народ здесь живет творческий, придумчивый, амбициозный, жадный до работы. И работают быстро, толково. На результат: будь то выращенные полукилограммовые помидорины или нутрии, больше смахивающие на одомашненных дикобразов, да хоть что — любо-дорого посмотреть. И в будущее детей ягурчане вкладываются всей душой и порой до последней копейки своих небогатых заработков (15 тысяч в месяц в селе — это уже почти «средний класс»). Чтобы развить в малых таланты, готовы возить ребятню в кружки и студии хоть за тридевять земель, порой отказавшись от выгодной работы, лишь бы выделить время на такие поездки. Плюс — добротная школа, сохранившая педагогические традиции еще с советских времен. Вот потому в селе немало «звездочек» и тех ребят, что получают на ЕГЭ под сотню баллов...

Село — это для моего мужа малая родина. Потянула она, построили дом. И многих других бывших ягурчан тянет обратно эта щедрая, сильная земля. Кто-то часто навещает свои пенаты, напиваясь живительным воздухом, кто-то помогает школе или спонсирует местную волейбольную победоносную команду... А один добрый человек, тоже выходец из этих мест, построил тот самый храм.

К сожалению, ныне такие лютые времена, что не могу назвать имени этого доброго человека, дабы не навредить ему. Благодаря своим изобретениям и внедрению их в бизнес он заработал капитал, получил в свое время денежные награды от государства, против которого ныне ведет военную операцию наша страна. Такой вот изгиб судьбы...

Душа повелела ему выстроить храм на родине. Не памятник себе любимому хотел он воздвигнуть. «Смысл был в другом. Если все только себе — то зачем это вообще? Когда даешь другим, когда делишься, тогда и у тебя дело движется, — рассказывает настоятель храма иерей Владислав Сулейманов. — И вот что еще было главным для него и тех со-деятелей, решивших ему помогать. Раньше, если хату кому строили, то всем селом трудились. А сейчас мы разобщены, разъединены. Трудно

собрать народ, сплотить на общее доброе дело... Часто вспоминаю строки из поэмы Николая Мельникова "Русский крест": "Может, церковь восстановим? Может, легче станет жить?" С такой надеждой на объединение селян в народ и взялись за возведение храма».

Фундамент был заложен в 2016 году. Строительством, миллионом разных дел руководил местный активист Анатолий Алексеевич Клочков. Могучий человечище с громовержским голосом... На нем все держалось, пока не был назначен настоятель.

Храм получился на загляденье. Высок и строен. По праздникам поют колокола. На территории храма — святой источник. Роспись стен внутри — светлая, нежная; войдешь — и будто паришь вместе с Архангелом Михаилом и святым его воинством. И ночью церковь подсвечена красиво — будто хрустальная.

Мы были в храме на Пасху — столько людей, что яблоку упасть некуда, многие с детьми. Батюшка, пожалуй, всех малышей теперь знает в лицо — крестил. Практически ни одни похороны тоже без него не проходят. «Смысла в нашей жизни прибавилось, — поделилась со мной одна из местных жительниц. — Раньше стоишь, бывало, на каком-то "мероприятии" и не знаешь, что сказать, что подумать, куда повернуться... А сейчас я, например, не сама по себе, я с церковью, со всеми вместе — и с теми, кто до нас, и с теми, кто будет». Одними из первых задружился батюшка с подростками — в помещении, где раньше находился молельный дом, теперь молодежный православный клуб. В нем только что сделали ремонт, на одной из стен сохранилась старая фреска с изображением святых. Конечно, разговоры ведет батюшка, прежде всего, о православии. От него, кстати, ребята узнали, что в 50-е годы прошлого века служил в Ягурах легендарный священник Пётр Сухонос — милосердный и мудрый батюшка, которого уже в конце 90-х чеченские боевики похитили и зверски замучили. Но откровенные разговоры идут здесь обо всем на свете. «Как-то разговариваем, и вдруг один парень спрашивает: "Отец Владислав, ты же нам друг?" Я ответил: "Конечно, друг!" Для меня это было очень важно», — признается настоятель.

Сельский народ приметлив, для них каждый человек, как на ладони. А уж тот, кому и по службе, и по велению сердца полагается наставлять уму-разуму, — под особым вниманием селян. Но если кто-нибудь и заворчит на отца Владислава: «Уж очень строг», — тут же другой одернет: «Строгость — не порок, зато внимательный к людям. Однажды местные выпивохи чего-то не поделили между собой и одного так отметелили, что и встать не мог. Все проходили мимо: проспится и сам домой прищандыбает. И только отец Владислав "скорую" вызвал, сам и носилки потом нес. Иначе сгинул бы человек». Помнят селяне и про то, что только отцу Владиславу удалось уговорить больного, доводившего ближних и дальних до белого каления, добровольно отправиться на лечение в психиатрическую лечебницу, сейчас тот ездит туда регулярно, без дополнительных увещаний... Нравится селянам и то, что почти на каждой службе — матушка, да не одна, а с тремя сыновьями, младшему из которых нет и года...

А батюшка сокрушается: «Мало людей в ягурском храме». Он — настоятель в четырех церквях, расположенных в четырех разных населенных пунктах, отстоящих друг от друга на десятки километров. «Один человек мне как-то сказал: "Я в бога не верю". А я ему ответил: "Зато Он в тебя верит". И эти слова возымели действие, через месяц сам пришел на разговор. Но не всегда все так легко и просто, не каждого одним лишь словом понудишь задуматься о Боге. Мы утратили не только веру, мы с ней утратили национальную культуру. Нашу самоидентичность. Спроси любого мусульманина: "Во что ты веришь?" И он отчеканит: "Нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммед пророк Его". А спроси русского, во что он верит, он скажет: "В бога". — "В какого Бога?" — "Нашего". — "Что за Бог такой?" — "Не знаю". Нет духовного вектора. Вот поэтому мы и имеем все то, что имеем. От этого многие наши беды».

А церковь стоит, радует глаз и душу. И будет радовать сотни лет. «Не бывает напрасным прекрасное». Ныне и присно, и во веки веков.

«Театр — это дело абсолютно иррациональное»

Уже двадцать лет в России проходит Фестиваль театров малых городов. За это время он стал важнейшим мотором театральных реформ в провинции. Об истории фестиваля и его нынешних достижениях и проблемах, о театральной энергии и экономике, о престиже и моде, о режиссёрах, актёрах и зрителях постоянно ведущему «театральной» рубрики «ДН» Борису МИНАЕВУ рассказывает театральный критик, арт-директор Фестиваля театров малых городов Олег ЛОЕВСКИЙ.

Борис Минаев: *Олег Соломонович, я довольно часто езжу с друзьями по малым городам России, в основном в средней полосе. Церкви, музеи, экскурсии — в общем, программа вполне традиционная. Иногда вдруг по пути попадает театр, я подолгу разглядываю афишу, представляю себе зрителей, актёров... Всегда думалось, что эти «театры малых городов» — в райцентрах, поселках городского типа — это явление, с одной стороны, глубоко советское, а во-вторых, слегка музейное.*

Олег Лоевский: С первым я совершенно согласен. Мне кажется, у советских комиссаров и наркомов где-то в мозжечке был вытатуирован театр как некое явление, которое нужно приручить, приспособить — это идет еще из XIX века, когда каждый купец или градоначальник хотел построить свой театр. И театр поначалу воспринимался советскими чиновниками как идеологический инструмент. Но... идеология пошла своим путем, а театр своим. Победила вечная потребность человека выходить на сцену, играть, открываться миру, никакого отношения к идеологии не имеющая.

Ну а что касается второго, музейности, — тут я совершенно не согласен. Напротив, в последние годы театры малых городов гораздо чаще идут непроторенными путями. В них ставят современную драматургию чаще и смелее, чем в крупных, столичных театрах, там гораздо больше новаторства, эксперимента. Среди театров малых городов есть те, что вообще, на мой взгляд, впереди планеты всей по своей творческой смелости, готовности воспринять и новые формы, и новые театральные языки — я могу назвать, например, театр из города Губаха Пермского края, где бесконечно экспериментируют с театром опен-эйр, или вот театр из города Лесосибирска Красноярского края, просто ставший знаменитым за последнее время и в стране, и в мире. В этих театрах работают, начинают творческую карьеру многие яркие молодые режиссёры — из Москвы, Питера, из разных городов: это стало престижно, модно и, главное, это творчески очень интересно.

Б.М.: *Вы уже много лет участвуете в Фестивале театров малых городов России, являясь одним из его создателей, организаторов, идеологов... А что это вообще за явление — «малый город», какие города могут принять участие? И как родился фестиваль? Как вы сами к этому пришли?*

О.Л.: Много лет назад, еще молодым человеком, я работал в Свердловском областном театре драмы выездным администратором. Это была середина 70-х. И скажу вам, что в тот момент я, как и многие мои ровесники, относился к театральной провинции очень свысока, мне было совершенно ясно, что настоящая театральная жизнь — она где-то далеко, в столицах, в Москве, Питере. Я поработал в Кемерово, в Риге — тогда там Адольф Шапиро руководил Молодёжным театром, потом вернулся в Екатеринбург. И сделал для себя вывод: провинциальные театры сотрудничают с одними и теми же режиссёрами. Был такой анекдотический случай, когда некий режиссёр поставил «Три сестры» в трех разных городах. Я их все посмотрел — абсолютно одинаковый спектакль. Одинаковый до такой степени, что, когда в каком-то из городов заболела актриса, этот режиссёр срочно вызвал на замену актрису из другого. И ничего не пришлось менять для ввода, настолько все было идентично.

Тогда я решил, что надо что-то делать.

Я много ездил по провинциальным театрам к этому моменту и видел: везде есть талантливые актёры, актёры от бога. Режиссура может быть слабой, репертуар может быть старомодным, подходы к спектаклю тоже, — но актёры будут вытягивать. Вот эта сила русского актёрского искусства, внутренняя, природная сила, эта потребность человека отдавать свою энергию — всё спасает и всё сохраняет. И эти актёры с появлением новой молодой режиссуры смогут реализоваться в большей степени.

Б.М.: *А что же потом происходит с этими актёрами из Лысьвы, Губахи, Минусинска (я намеренно называю лучшие по многим параметрам театры малых городов)?*

О.Л.: За последние годы очень многие актёры из малых городов уехали. Кто-то перебрался в областной центр, кто-то решил попытать счастья в Москве. Ну что, ходят по кинопробам, снимаются в массовке, в случайных эпизодах. Почти никто не пробился. Психологически трудно вернуться в Мотыгино, предположим, когда там все знают, что ты решил уехать в Москву. Вот и получается, что у себя дома актёр играл главные роли, играл Гамлета, а тут он аниматором работает. Грустно... Но появляются новые таланты, этот источник не иссякает, такова органика наших актёров.

Б.М.: *То есть фестиваль родился благодаря актёрским талантам из провинции...*

О.Л.: Погодите, я еще не ответил на ваш вопрос о том, что вообще такое этот фестиваль и что такое «малый город». В последнее время по решению федеральных властей «малым городом» может быть и областной центр. Ну, например, Кострома — там меньше двухсот тысяч населения. Или Нальчик. Но в нашем фестивале областные театры участия не принимают. И тут возникает масса парадоксов. Есть Мотыгино Красноярского края (я еще не раз буду их замечательный театр упоминать), там живет четыре тысячи человек, и есть Нижний Тагил, Магнитогорск, Набережные Челны, и другие промышленные центры, где живет по семьсот — восемьсот тысяч. Есть еще военные городки, есть закрытые атомные города, там тоже театры. И все они для нас «театры малых городов» и участвуют в фестивале. Как и театры из национальных автономий — ведь они существуют отнюдь не только в региональных столицах.

Фестивалю уже двадцать лет. Его придумали и первые годы проводили Михаил Чигирь и Сергей Коробков, тогдашние руководители Театра наций. Потом в театр пришла новая команда: Евгений Миронов стал художественным руководителем, а его правой рукой — Роман Должанский, известный театральный критик. Должанский тогда работал в газете «Коммерсантъ», делал разные театральные фестивали, и он тоже начал заниматься малыми городами вместе с Евгением Витальевичем. Фестивалем малых городов, таким образом, занимались, с одной стороны, команда театра, с другой — приглашенные эксперты и организаторы, в том числе и я. У меня есть свой фестиваль в Екатеринбурге, где я живу и работаю, он называется «Реальный театр»,

и недавно ему исполнилось тридцать три года, между прочим... Это я к тому, что положение в провинциальных театрах мне было хорошо известно.

Мионову удалось убедить Минкульт принять Программу развития театров малых городов. Это и был, наверное, ключевой момент. Ходили слухи, что один из руководителей страны, когда ему попала на стол эта программа, сильно удивился, что, оказывается, в малых городах столько театров. Ну вот с тех пор Театр наций и Минкульт — главные, так сказать, хозяева этого фестиваля, они запустили программу в жизнь.

Б.М.: *А что в самой этой программе главное?*

О.Л.: На мой взгляд, важнейшим моментом стал запуск театральных лабораторий. Они довольно быстро изменили всю картинку.

Б.М.: *Каким образом?*

О.Л.: Началось с того, что, увидев бедственное положение с режиссурой в малых городах, я принялся обзванивать известных режиссёров: Марка Захарова, Сергея Женовача, питерца Григория Козлова... — просил их рекомендовать своих молодых учеников, самых ярких на курсе, предположим. Стал приглашать этих начинающих режиссёров на постановки, заранее договорившись с театрами. Все отказывались! Они сидели и *годами* ждали, когда их позовут в большие московские театры. Говорили: «Ну вот как я уеду, а вдруг мне Табаков позвонит, он обещал со мной связаться?» И так абсолютно все... Конец 90-х — начало 2000-х, мобильные телефоны далеко не у каждого, и люди готовы были сидеть без работы и ждать вызова.

И вот тогда родился этот простой вроде бы модуль лаборатории, которым я очень горжусь, поскольку считаю, что он взломал всю ситуацию.

Три молодых режиссёра приезжают в какой-то театр, ну предположим, в Уссурийск или Каменск-Уральский. *За пять дней* им нужно сделать три постановки. Пьесы выбираю я вместе с театром, — в основном это современная драматургия. Это как бы *эскиз спектакля*. Но с полной выкладкой — с декорациями, костюмами, с музыкой и светом, со зрителями. И, конечно, с полной актёрской самоотдачей.

Возникает ситуация стресса, творческого штурма. Самое важное, на мой взгляд: опытные актёры не успевают за пять дней разложить по полочкам нажитые штампы и краски. Играют «как получится», то есть импровизируют. В результате просыпаются подсознание, интуиция, какие-то глубинные пласты таланта. Внутри театра начинают работать актёрские «лифты». В итоге задействована вся труппа, а не только костяк, на котором привычно все держится. Те, кто долгие годы был на вторых ролях, выходят на первые. В общем, что-то прорывается в этой бешеной, напряженной работе — то, что раньше дремало или не было востребовано. Потом театр может выбрать любой эскиз для своего репертуара и предложить режиссёру завершить работу и выпустить спектакль. Хотя были и парадоксальные случаи, когда театру так нравилась работа молодого режиссёра, что спектакль, сделанный, повторяю, за пять дней, отправлялся на фестиваль, получал первую премию, и его играли и возили в том же виде дальше. Так, например, было в Тольятти, когда Женя Беркович сделала спектакль по книге «Детство, отрочество, юность» Льва Толстого (пьесу написала Ярослава Пулинович).

Кроме того, лаборатория — еще и мощная образовательная программа для труппы. Мы привозим лучших специалистов в области сценического движения и сценической речи, они читают лекции, проводят занятия. Этим занимается Елена Носова, один из главных «моторов» всей этой программы.

И наконец, если можно так сказать, «зрительский цех» — мы людей приглашаем не просто смотреть эскиз, а на обсуждение спектакля, подробно записываем все мнения, используем их в дальнейшем. То есть, все цеха театра приходят в движение и взаимодействуют. Ломаются все шаблоны.

Итог — молодые режиссёры поехали в провинцию. Театры их приглашают, и режиссёры охотно соглашаются! Вот только несколько примеров. Марат Гацалов.

Сейчас он нарасхват и в московских театрах, и в Питере, он был художественным руководителем Пермского театра оперы и балета, одного из ключевых оперных театров в стране. Но ведь слава настоящая пришла к Марату, когда он поработал с 2010 года в Прокопьевске главным режиссёром! Или Даниил Чашин, который очень яркие спектакли ставил и в Канске, и в Прокопьевске, и в Нягани... Лиза Бондарь, ее постановки в Мирном... Антон Фёдоров в Альметьевске... Десятки ярких режиссёров.

Мы проводим шесть—семь лабораторий в год. Новые режиссёрские имена зазвучали в Нягани, Уссурийске, Шарыпово, да где угодно. Вы, может быть, и городов-то таких не знаете, не слышали о них. А там люди делают настоящее искусство, получают «Золотые Маски», стартуют оттуда на московские и питерские сцены.

Б.М.: *Олег Соломонович, простите, прерву вас, но хочу понять: в чем всё-таки главная мотивация, в чем основная, как говорят сейчас, фишка? Для чего? Ну я понимаю, очень интересный лабораторный опыт, удалось создать целую институцию — фестиваль. Но ведь это же еще не всё? Что-то же должно двигать людьми, чтобы преодолевать сопротивление среды? Вот этот главный мотиватор, это же никакая не «господдержка», наверняка это что-то другое?*

О.Л.: Давайте я на одном примере попробую объяснить. Этот театр я уже упоминал — в городе (если официально — в поселке городского типа) Мотыгино Красноярского края, где четыре тысячи жителей. Добраться на машине можно только зимой, по льду через три реки (вроде бы сейчас строят маленький аэродром). Когда я туда в первый раз приехал, то был просто потрясен: стоит на берегу Ангары такое деревянное здание, по сути дела, большой сруб. Театр. На фронтоне — из крашеной фанеры вырезанные дамы в кринолинах, мольеровские милорды в париках. Захожу внутрь — там большой портрет Станиславского, но странный: очень знакомо как-то щурится Константин Сергеевич. Спрашиваю: а чего он у вас так щурится? Да вот, понимаете, говорят мне, это был портрет Ленина, ну, художник взял, переделал...

И зрители в Мотыгино меня поразили. Зал на сто мест. Я попал на какую-то, скажем, деревенскую комедию, ничего особенного, — но реакция зрителей!.. Сидят и вполголоса разговаривают с персонажами: «Слушай, девка, ну а чего ты за него замуж-то не выходишь?» Так, как бы про себя... Где ещё такое увидишь?

Там был такой актёр Роман Полуэктов, сейчас, к сожалению, уже покойный, от бога актёр. И не он один. Удивительный директор театра.

Понятно, что на тот момент, когда я приехал, приглашение молодому режиссёру из Москвы ставить в Мотыгино выглядело бы абсурдом. «А где это? А зачем?» Ну а сейчас — вдруг — отбоя нет! Хотят ставить в Мотыгино. Рвутся туда... Попасть люди хотят вот в эту особую атмосферу, чистую, где можно полностью сосредоточиться на театре, исключительно на нём.

...Я вам так скажу — театр вообще дело абсолютно иррациональное. Искать внутри него какие-то рациональные, разумные мотивы — занятие бесполезное. Ну вот вы можете объяснить, почему в одних местах театр растёт как на дрожжах, органично вращается в почву, а в других нет? Почему, если брать европейский опыт, в Польше, Литве — десятки режиссёров, всемирно известные школы, а в каких-то соседних странах их нет? Почему в Бурятии, в Якутии (я уж не говорю про якутское кино, которое стало всемирно известным в последние годы), почему в Кызыле, в сибирских городах — в Минусинске, например, такой расцвет театра? Совершенно непонятно.

Есть органическая потребность выходить на сцену, по крайней мере, у русских актёров: заявлять о себе миру, получать энергию и отдавать ее, открываться Вселенной. *Быть не собой*, понимаете? Чтобы люди на тебя смотрели... Скоморошествовать и юродствовать, если говорить о национальных корнях актёрства. Это особая энергия, ее невозможно рассчитать по привычным законам нашей обычной жизни, такой вот... бытовой... Можно это понять только изнутри. Конечно, актёры такие же люди, как все, бывают в их среде и зависть, и интриги, не без того, «всё как у людей».

Но мотивации совершенно другие: человек будет болеть, умирать, голодать, но всё равно ему надо выйти на сцену. После спектакля — упадет без сил, полумертвый, но на сцене будет полахать этой клокочущей театральной энергией.

Б.М.: Ну да, это я понимаю...

О.Л.: Ну да, может быть, вы и понимаете, но на самом деле *извне* это всё понять нельзя. Только изнутри.

Б.М.: Хорошо, пусть так — но как эти театры в малых и даже совсем маленьких городах, где и в обычные-то годы с деньгами было не очень, пережили тяжелые экономические реформы, пережили 90-е?

О.Л.: Тут тоже проходит какая-то граница между рациональным и иррациональным. Театральные люди — они, как правило, вспоминают эти так называемые лихие 90-е совсем иначе, чем люди не театральные. «Нам разрешили играть театр абсурда! Мы в первый раз поехали с театром за границу! Нам отменили театральную цензуру!» А фестивали, которых раньше не было? А студии, ставшие вдруг муниципальными театрами благодаря перестройке? Да много всего... Театр в малых городах в 90-е, несмотря на все экономические трудности, пережил творческий взлет. Именно творческий. Ну вот я могу один пример привести: театр из Новокуйбышевска — студия «Грань». Очень известный театр. Художественный руководитель — Денис Бокурадзе. Он сам выпускник этой студии, при нем театр расцвел, получил статус муниципального, сейчас ему строят здание. И таких примеров в 90-е было немало.

Б.М.: А кто играет в малых городах, в этих небольших театрах? Бывает так, что выходят на сцену любители, полупрофессионалы, актёры народных театров?

О.Л.: Народные театры и театры-студии — это вообще отдельная тема. Как правило, играют в малых городах всё же профессионалы. В том же Мотыгино играют выпускники соседних театральных колледжей, прежних культпросветучилищ. Очень много по стране работает выпускников Екатеринбургского театрального института. В Сибири свои центры театрального образования — Новосибирск, Красноярск, Иркутск, на Дальнем Востоке — Хабаровск, есть сильный театральный вуз в Казани... Но, конечно, театры часто сами создают студии, посылают лучших студийцев учиться, а в последние годы заключают договоры с московскими и питерскими вузами, с ГИТИСом, преподаватели приезжают на места...

Но я про другое хочу сказать. Вы меня спрашивали о мотивации, о миссии. Понимаете, театры невозможно стричь под одну гребенку, пытаться извлечь какой-то «общий корень». Существуют совершенно разные типы театральных организмов, и мотивации у актёров в них тоже разные.

Б.М.: Если можно, приведите примеры, чтобы я понял.

О.Л.: Я разделяю театры на три основных типа.

Первый — *театр-дом*. Там всё строится на личности главного режиссёра, на его отношениях с учениками, это в полном смысле слова *дом*. Туда со своим уставом никак не попадешь. Наиболее яркие примеры — это Сергей Женовач и его «Студия театрального искусства», где Женовач ставит собственные спектакли, плюс иногда его ученики; театр Григория Козлова в Питере (театр-студия «Мастерская»), где он проводит целые фестивали своих учеников-режиссёров. Или же театр Николая Коляды в Екатеринбурге, который нашел свой театральный язык, и когда я говорю о природе русского актёрского таланта и упоминаю скоморохов и юродивых, у меня перед глазами он сам и, конечно, именно его актёры и его спектакли: вот эти скоморошеская игра, погружение в себя, какой-то внутренний аутизм, бесконечное высмеивание и обыгрывание любых привычных образов мировой культуры — и в то же время *юродство*, как постоянное самокопание, самоанализ, «расчесывание» болезненных зон, национальных комплексов, своего и чужого подсознания, обида на весь мир. Удивительный сплав. Из театров малых городов самый яркий пример театра-дома — это театр из города Минусинска, обладатель многих премий, многократный участник

«Золотой Маски», его уже сорок девять лет возглавляет Алексей Песегов. И в каждом театре-доме есть свой язык, свой фундамент... Но основное — это присутствие «главы семьи», отца-основателя.

Есть *театры-коммуны* или, если хотите, *театры-секты*. Это вообще особый тип театрального коллектива. Там, поразительным образом, люди вообще ничем, кроме театра, не интересуются, не занимаются обычной жизнью вообще. Абсолютно чистая, лабораторная атмосфера. Люди в таком театре живут исключительно театром. Я понимаю, что это довольно рискованное определение, но один большой театр-коммуна я всё же назову — Экспериментальный театр Анатолия Праудина в Петербурге. Праудин поставил, например, три спектакля по самым важным режиссёрским манифестам XX века: это спектакли по книгам Станиславского «Работа актёра над собой», Михаила Чехова «О технике актёра» и Брехта «Покупка меди». То есть, понимаете, — три спектакля о театре великих режиссёров, три спектакля о театре, о самом языке театральном.

Есть такие театры-коммуны и в малых городах.

К этому типу можно отнести и упомянутый уже театр Бокурдзе, и театр Дамира Салимзянова в Глазове. У таких театров свой зритель, который тоже часть этой коммуны, этого почти религиозного служения театру.

И третий тип театра, самый распространенный — *театр-фабрика, театр-завод, театр-артель* (зависит от масштаба). Там нет единого художественного подхода, единого режиссёрского языка, просто приглашаются разные люди и со своим разным подходом ставят более или менее удачные спектакли. И зависит каждый раз только от профессионализма исполнителей — получится, не получится.

Для меня самый яркий и удачный пример такого театра — Омская драма. Из театров малых городов — татарский национальный театр из города Альметьевска.

Б.М.: *Я видел спектакль из Альметьевска на сцене Театра каций. Это спектакль на татарском языке по роману «Бегущий за ветром» Холеда Хоссейни, писателя афганского происхождения. (Я, кстати, писал о об этом спектакле в «Дружбе народов».) Меня поразило несколько вещей. Во-первых, что театр из «малого города» поставил спектакль по современному бестселлеру, не по Лопе де Вега или даже по Теодору Драйзеру, а по очень популярной, современной книжке, американской, при этом совершенно официально оформив права. Во-вторых, как органично сочетаются татарский язык, на котором идет спектакль, и афганская фактура, национальные песни и авторские костюмы, декорации, ну, в общем, в спектакле просто дышит Восток, дышит эта жара Кабула, эти воздушные змеи, которые ты просто чувствуешь над собой. Ну и конечно, очень современный взгляд, без всякой оглядки на цензурные рогатки, на любые стереотипы. Огромная эпическая история. Отличная работа.*

О.Л.: Да, этот спектакль поставил Камиль Тукаев, актёр Воронежского камерного театра. Вообще директор Альметьевского татарского театра Фарид Исмагилова — яркий пример умного и правильного подхода к театру-мастерской, куда она приглашает самых разных мастеров, и опытных, и молодых.

Б.М.: *Если говорить о московском зрителе — как он может всё это богатство увидеть?*

О.Л.: Ну, прежде всего следите за «Золотой Маской», здесь часто бывают спектакли театров малых городов. Надеюсь, и после изменения регламента «Маски» будет что посмотреть... Кроме того раз в год победители фестиваля показывают свои спектакли на сцене Театра наций — в зале можно увидеть и самых авторитетных театральных критиков, и так сказать, театральную общественность Москвы — режиссёров, актёров, директоров московских театров. Приезжают победители фестиваля — в номинации «Большая форма», «Малая форма», но не только. Например, спектакль «Мёртвые души» режиссёра Олега Липовецкого из города Лесосибирска,

там, где трое молодых парней играют всех гоголевских персонажей, — очень понравился москвичам, и он приезжал не раз...

У лабораторий театров малых городов много разных площадок и форм. Скажем, в последние годы мы развиваем ландшафтно-музейный проект. Например, в Ясной Поляне лаборатория была посвящена пьесам по произведениям Льва Толстого и о Толстом. Была лаборатория в Горках Ленинских — там делали спектакли по антиутопиям. Мне кажется, антиутопиям там самое место. Была лаборатория в Поленово. Есть наша кооперация с другими фестивалями — например, была отдельная театральная программа на фестивале, который организует пианист Борис Березовский в Елабуге. Ну и так далее...

Кстати, у Фестиваля театров малых городов существует, конечно, такая важная составляющая, как выбор победителей. Жюри определяет лучших в малой и большой формах. В этом году фестиваль проходил в Магнитогорске. Все театры, все труппы, все режиссёрские команды, приезжают не на два-три дня, как обычно это бывает, а живут весь срок — восемь дней. Смотрят все спектакли, участвуют в обсуждениях. Это еще одна особенность нашего фестиваля и это очень важно.

Б.М.: *А как отбирают участников?*

О.Л.: Отбирают эксперты, это театральные критики, они смотрят спектакли в записи. Что касается жюри, туда входят известные режиссёры, драматурги, популярные актёры. В разные годы в жюри входили Лидия Федосеева-Шукшина, Татьяна Догилева, сейчас бессменный член жюри — актриса театра им. Моссовета Ольга Остроумова. А возглавлял жюри в этом году режиссёр Марат Гацалов.

Как я уже упомянул, в рамках фестиваля реализуется большая образовательная программа для актёров, цехов, администрации.

В этом году в фестивале участвовали шестнадцать театров: из Альметьевска, Березников, Великих Лук, Глазова, Комсомольска-на-Амуре, Кудымкара, Лысьвы, Магнитогорска, Минусинска, Мичуринска, Набережных Челнов, Новокузнецка, Новокуйбышевска, Нягани, Прокопьевска, Шарыпово. Коллективы представили шесть спектаклей большой формы и десять — малой формы. Так что жизнь, как говорится, продолжается.

Ольга Балла

Места, не-места, гиперместа

Конструируя провинциальное

«Провинция культивирует странность». Фраза эта, попавшись в одном из многочисленных и скоропреходящих периодических изданий счастливой поры юности и перестройки, давно уж оторвавшись и от родимых контекстов, и от собственного автора и превратившись в самодостаточную формулу, терпеливо ждущую своего применения, наконец-то — не прошло и тридцати пяти лет — нашла возможность пригодиться. Теперь, когда нам предстоит разговор о смыслах провинции и провинциальности на материале современной словесности, она, думается, сможет оказаться ключом ко многому.

В самую первую очередь «провинция» и «центр», разумеется, — условности, концепты, конструкты. Зато во вторую, гораздо более важную очередь они — типы символических пространств (и соответствующих им, создающих их символических практик), и у каждого из них есть свои принципы конструирования; и символический капитал у них — разного типа. Правда, деление на два типа — очень грубое, на самом деле всё гораздо сложнее и тоньше.

Кроме этих двух, существует по крайней мере ещё один, третий тип символического пространства (вряд ли один только он, но рассмотрим мы на сей раз только его). Это *провинциальный центр* — центр некоторой области, полагаемой вообще провинциальной. Как раз таков Екатеринбург, столица Урала, он же, как говорит автор одного из ныне рецензируемых травелогов, Дмитрий Бавильский, — третий по значимости (по, значит, «центровости») город страны после Москвы и Петербурга. (Понятно, что такое огромное пространство, как наше, вынуждено быть полицентричным, и эти центры вступают в сложные взаимоотношения друг с другом, в которых соперничество — не единственный компонент и, может быть, не самый главный.)

Положение центра такого типа принципиально парадоксально. Он оказывается в ситуации двойного давления, двойного возражения: самый центральный центр видит в нём окраину, собственные его окраины тяготеют к нему и, соответственно, отталкиваются от него как от центра. Что делать в такой ситуации? (Рабочая заготовка ответа на этот вопрос у нас уже есть: отвечая на все эти разнопорядковые вызовы — «культивировать странность», собственное неповторимое лицо. Да, Екатеринбург так и делает, и да, это ему удаётся.)

Из Москвы да разве что ещё из Петербурга вся остальная территория нашего отечества предстаёт, конечно, как сплошная провинция. Вот и Дмитрий Бавильский в рецензируемом ниже тексте говорит, что для московского глаза «все прочие столицы и города выглядят какими-то равноудаленными». Правда, он делает важную оговорку: кроме Петербурга и Екатеринбурга. (Ну не знаю, мне, например, среди этих исключений отчаянно недостаёт Нижнего Новгорода.)

Так вот, глядя из Москвы, для двух типов внецентровых символических пространств можно в рабочем порядке предложить названия «Провинция 1» — локальный / региональный центр (далее — «П1»; условный Екатеринбург) и «Провинция 2» — которая уж совсем провинция, ни для чего не центр и не претендует им быть (далее «П2»; условное село Марково на Чукотке). Каждому из типов будет посвящена отдельная глава этого обзора.

Кроме того, для дальнейших рассуждений нам потребуется представление о двух типах (описывающего, конструирующего) взгляда: *извне* и *изнутри*. Это деление накладывается на предложенное выше различие двух типов провинциального пространства (вместе, но по-разному, отличающихся от столичного центра), но не вполне совпадает с ним. Понятно, что центр и провинция (и П1, и П2) — глазами, соответственно, *человека центра* и *человека провинции* (отвлечёмся сейчас от заманчивого вопроса о том, различается ли чем бы то ни было их культурно-антропологическое устройство) — смотрят друг на друга извне. Также извне могут смотреть друг на друга и разные провинциальные области. Вдобавок существует и внутренний взгляд на провинциальную жизнь. Причём характер взгляда не так уж жёстко связан с тем, где именно — в центре ли, на окраинах ли — живёт сам смотрящий. Это всего лишь тип занимаемой позиции, а она может меняться.

Позиция человека центра в окраинных пространствах — это (например и чаще всего) позиция *туриста* или, что интереснее, поскольку глубже, — *исследователя*, *(перво)открывателя*, *(перво)описателя* провинциальной жизни для своих собратьев по жизни центральной.

Примерно ту же позицию занимает человек окраины в более-менее центральных для него пространствах: позицию внешнего чужака любой степени чуждости — от туриста до покорителя. Он, конечно, и своего рода исследователь центра, и первооткрыватель его, но разве что для самого себя и сообитателей своей, всегда потаённой и интровертной, провинции: центр обыкновенно изучен и описан неплохо. (Значит: провинция — это ещё и неизведанность, укрытость от «центрального» взгляда.)

Можно предложить и ещё одну классификацию обитаемых пространств, в основу которой положим не столько свойства их как таковых, сколько то, как они воспринимаются культурой в целом; расхожие представления о них. Сообразно этому, существуют *места* — пространства, у которых заметен индивидуальный облик. *Не-места* (заимствуем термин у Марка Оже, который вкладывал в него несколько иное значение) — «слепые пятна» общекультурного зрения, индивидуальность, характерность черт которых не замечается, не принимается во внимание (то, что считается «серым», «стёртым», «безликим», «аморфным», «одинаковым»...). И, наконец, *гиперместа* — пространства, образ которых (всё в том же расхожем представлении) не просто очень яркое и резко-индивидуальное: они ещё и задают модели описания для всех, в пределе, прочих пространств. Таких у нас в России, кажется, два, оба — центры: Москва и Петербург.

Итак, каковы же способы выработки провинции как смыслового конструкта? — пусть не все возможные, но хотя бы некоторые из существующих. Из каких деталей собирается провинция, по каким правилам? И самый интригующий вопрос: ради чего?

Обозреваемые тексты, сошедшиеся на рецензентском столе с обыкновенной (то есть большой) степенью случайности, дадут нам много материала для ответов на эти вопросы.

Первоначальные наши предположения таковы:

— центр — точка притяжения (то, по крайней мере, что претендует таковою быть);

— провинция / периферия — то, что к центру притягивается и отталкивается от него; во всяком случае — альтернатива центру (всё равно какому: административному,

культурному...), она — область скрытого, оттеснённого, непрояснённого, неявного. Область недовостребованных, по крайней мере до поры до времени, резервов и ресурсов. В этом последнем качестве её, конечно, конструирует центр — отсчитывая её от себя, настойчиво предлагая ей самого себя в качестве меры всех (провинциальных) вещей.

В восприятии центра и провинции можно заметить два подхода (скорее даже — два предубеждения), довольно устойчивых и лишь по видимости противоположных друг другу. Первый: провинция — та самая «странность», экзотика; центр — норма, область самоочевидностей; второй: провинция — рутина и инерция, центр (даже если он центр провинции) — область новизны, прорывов и открытий. Попробуем проверить на доступном нам, пусть и вполне ситуативном материале, в какой мере оправданы такие представления.

III. В центре провинции: Екатеринбург глазами местных и заезжих

Де Геннин места // Урал. — №№ 5, 6. — 2023

Проект, воплотившийся теперь в текстах на страницах майского и июньского номеров екатеринбургского журнала «Урал», родился, не хуже Афины из Зевесовой головы, из случайной оговорки одного из своих организаторов — поэт Сергей Ивкин хотел сказать «гений места», да вышло «де Геннин места» и тем самым — куда точнее прежнего. Жителям иных городов, скорее всего, надо объяснять, кто таков де Геннин, для екатеринбуржца это самоочевидно, принадлежит, надо думать, к основам здешнего существования: голландец (по другим сведениям, немец) Георг Вильгельм, он же Вилим Иванович де Геннин (1676—1750, друг и соратник Петра Первого, специалист в области горного дела и металлургии, — один из сооснователей, вместе с Василием Татищевым, вокруг ими же созданного металлургического завода, поселения, ставшего началом города Екатеринбурга. Родилось как будто всего лишь броское в своей точной парадоксальности имя для проекта, но понятно же, что как вы лодку назовёте, так она и поплывёт. И вот она поплыла извилистыми, прихотливо-индивидуальными екатеринбургскими маршрутами.

К трёхсотлетию уральской столицы «Урал» и Свердловская областная научная библиотека имени В.Г.Белинского, запустившая взамен закрывшегося в 2022-м Екатеринбургского книжного фестиваля новый, под названием «Библионнале#наурале», создали этой новой культурной форме журнальную, текстовую проекцию: «Захотелось организаторам, — как говорит в предисловии к ныне обозреваемому собранию текста автор идеи Евгений Иванов, — чтобы новинка оставила что-нибудь для вечности после себя».

А предлагается вечности — собираемый из множества летучих временных примет, создаваемый многими наблюдателями — образ города. Выработка устойчивых локальных смыслов (а отчего бы и не новых местных мифов?) — из новейшего, актуального, сиюминутного и как бы скоропреходящего в этом качестве материала.

Всё это тем более важно, что, будучи несомненным *местом* — пространством со своим характерным, узнаваемым обликом — для общекультурного сознания, в целом Екатеринбург не очень в этом качестве проявлен и осмыслен. Как *место* его ещё предстоит наговорить и проговорить (то есть — в значительной степени создать), причём не только устами екатеринбургских писателей, которые, разумеется, пристрастны к своей малой родине, добавить общечеловечности образу Екатеринбурга. Если угодно, депровинциализировать его. Если и не дорастить до состояния

гиперместа (хотя на самом-то деле почему бы и нет?), то увеличить степень его центральности, «местовости».

Итоговый гипертекст (имевший на стадии замысла ещё название «Путёвый журнал») «должен был состоять, — объясняет далее Евгений Иванов, — из разножанровых автофиксаций целенаправленных впечатлений писателей в роли путешественника, который читался бы в любой последовательности и пересекался в неожиданных точках». Теперь этот гипертекст сложился (по крайней мере, начал складываться) и опубликован; но вообще конструкция принципиально разомкнутая, и каждый гость Екатеринбурга, который придет туда в рамках какого-нибудь из проектов библиотеки Белинского — «Библионнале#наурале» или «Библионочи», — вправе добавить к этому растущему строению собственный кирпичик.

Почти все авторы составивших этот гипертекст травелогов — люди, приехавшие в областной центр из центров больших и главных (есть значимые исключения). У того, как они воспринимают и описывают город, есть некоторые типовые черты, и первая из них — опора на так называемые достопримечательности, общеизвестные символические точки (ничего достойного осуждения в этом нет; такие точки помогают собрать пространство и для того именно и заведены. Между такими точками, узлами смысловых линий и натягивается — в общекультурном представлении — ткань локально-центрального пространства).

Так, прозаик **Роман Сенчин**, во многом уже свой человек в Екатеринбурге, живущий в нём на протяжении целых шести лет, говорит о городе практически исключительно через расстановку (очередное, бесчисленное в истории подтверждение) общеизвестных, наиболее интенсивных символических точек: озеро Шарташ, «Городок чекистов», Харитоновский парк, дом Гайдара, «Ельцин-центр». Подробно описан лишь один из этих локусов, «Городок чекистов», куда автор даже специально ездит для получения впечатлений определённого рода: «...Странноватой архитектуры облупившиеся дома, тёмные окна в них; дворы всегда пустые, тенистые, жутковатые»; ещё одному — озеру Шарташ — досталось совсем беглое описание: «...Брожу по окружающему его лесу, вижу отёсанные камни...» Не раскрывая содержания почти ни одной из этих опорных точек восприятия, Сенчин тем не менее каждую называет любимой и важной и лично для себя, причём не только как для частного человека, но и как для писателя: «Такое чувство, — говорит он о дворах «Городка чекистов», — что там со мной произойдёт история, эти дворы и дома дадут мне сюжет...». Заявленная им позиция в отношении города — прагматична: он (или, по крайней мере, лирический герой его эссе), инсайдер екатеринбургской жизни, не познаёт город, он использует его для своей писательской работы, и эссе его так и называется: «**В поисках странных сюжетов**».

Этот текст (интровертный, но очень екатеринбургский по существу: только своё можно вот так, по-хозяйски, не познавать и исследовать, а использовать) интересно сравнить с эссе другого местного жителя — поэта **Сергея Ивкина** («**Глазами проводника**»), позиция у которого особенная: он — внутренний для своего города человек, который показывает его людям внешним и приобретает таким образом двойное, стереоскопическое зрение: извне-изнутри. «*Слышать пространство, в котором живёшь, начинаешь, когда дорогой гость просит показать ему самое интересное*», — говорит Ивкин в самом начале своего текста и тут же обращает внимание ещё на один, важнейший, аспект восприятия городов, что извне, что изнутри: совершенную неотделимость этого восприятия от воображения, домысливания, сочинения: при демонстрации города гостям, замечает он, «открываются два пути: вспоминать или врать. И граница между ними — неразличима». Вот именно: город тогда только становится живым и настоящим, когда как следует придуман; этим эссе и открывается: разные города — большие региональные центры, П1 — предстают авторскому воображению как люди со своими характерами, каждый —

внутри небольшого сюжета: «...Пермь — вечная девочка, чей возраст не угадаешь, да и не решишься спрашивать, в глазах — тоска и обида, но улыбка и макияж всё скроют. Сидишь с ней рядом на берегу речки Стикс, в тени Соловьиного сада, старательно не замечая морщинок. Челябинск — пожилой интеллигент, которого хорошо помотало жизнью, но он сохранил и чувство собственного достоинства, и спортивную форму. Он предложит тебе чистую лавочку с обратной стороны здания Университета. И приведёт в компанию стаю воробьёв. А вот Екатеринбург мне всегда виделся сорокалетним разгильдяем, старательно делающим вид, что вполне себе устроился в жизни». (И сразу видно, что в этом восприятии нет ничегошеньки от взгляда из центра, всегда в какой-то мере измеряющего и оценивающего — и неминуемо в той или иной степени сверху вниз. Тут — всё на равных: «Я достиг нужных возраста и настроения, чтобы слиться с городским “гением”, водить гостей по своей земле».) Далее у Ивкина будет много моментальных снимков разнообразного городского лица: «...Памятник Зайке Агнии Барто возле Девятой гимназии. Ресторанчик расположен внутри “гусениц” Дома-Трактора. Ниже по улице — Дом-Комбайн, в котором шуршит письмами Главпочтамт, а рядом с ним плита Нулевого километра Свердловской области. Скверик с печальным изобретателем радио — Александром Поповым (Маркони ему разум мутит). Весь в татарских орнаментах Дом Севастьянова, которому Священный Синод не позволил носить золочёные купола. Так дом и меняет время от времени расцветку фасада, всё не может определиться с костюмом. Плотины с красивой горизонталью городского пруда, которую рассекает одинокий Дом-Пароход. Набережная Рабочей молодёжи с маленькими аристократическими домиками. Девятая гимназия, мечтающая стать Хогвартсом. Ещё один скверик возле гимназии: несколько скамеек среди зелени. На одной из них сидит бронзовый заяц размером с откормленного спаниеля и стоит раскрытая книга размером в две библии Гутенберга...». Так плотно и детально может рассказать только внутренний, знающий человек — внешним.

Поэт и литературный критик **Валерий Шубинский**, петербуржец, в первой же из своих «Двенадцати мыслей про Екатеринбург» начинает читать новый для него город столичными, «центровыми» глазами, мерить его столичной меркой. «На что похож Екатеринбург для петербургского взгляда?» — задаётся автор вопросом в самом начале своего эссе, и тут же оказывается, что похож он «на Москву» — разве что «уменьшенную в десять раз». «Екатеринбург убеждает в том, — говорит далее автор, — что Москва, многократно уменьшенная, стала бы вполне пригодна для жизни» (и вот перед нами взгляд на центр изнутри — ну не то чтобы провинции, но всё-таки второго, чуть более свободного от своей центральности центра). У Шубинского вообще интересно устроенная позиция — объединяющая черты «человека центра» и «человека провинции» (общее у обоих наблюдателей — то, что ни один из них не екатеринбуржец, оба *внешние*); Шубинский берётся говорить одновременно от имени обоих, чего, кроме него, пожалуй, никто не делает: «Исеть, на взгляд петербуржца и тем более волжанина, — река из царства лилипутов». Петербургская мерка, однако, оказывается более удобной ему для измерения: «Она (Исеть. — *О.Б.*) <...> шире Оккервиля, но уже Охты»; «Екатеринбург и Петербург — единственные в России города камня»; «По названию Екатеринбург — вроде как жена Петербурга. Но это странно, потому что дух обоих городов — чисто мужской». (Далее в том же журнале читатель увидит, как Екатеринбург измеряет Петербургом и человек, обоим городам не принадлежащий, — Дмитрий Бавильский: «Ебург, — говорит он, — <...> стихийно образовавшийся анти-Питер». Просто уже потому, что центру заведено быть меркой провинции.) Москва как эталон, хоть бы и отрицательный, тоже годится: на набережной «город похож уже не на Москву, а на Чикаго». Да и вообще-то, если всмотреться, он на эту Москву не похож — но не похож именно на неё: он — «мужчина: резчик по камню, металлург, геолог. И даже бывший браток, перевоспитанный Ройзманом и проводящий

экскурсии в Музее невянской иконы», и уж по одному по этому не может не отличаться «от Москвы, которая — барыня: иногда добрая барыня Марья Романовна, иногда и Салтычиха».

Кроме описания города через сходства/несходства, Шубинский накладывает на Екатеринбург готовые матрицы, сложившиеся за его пределами, — описывает его через устоявшиеся архитектурные модели: «В каждом хорошем российском городе есть своя архитектурная фишка. Самара — это модерн, Новосибирск — конструктивизм, Томск — деревянная архитектура, Тверь или Кострома — губернский классицизм. В Екатеринбурге же есть понемногу всего, и это смешение прекрасно».

Будучи в Екатеринбурге человеком внешним, а потому — более местного жителя Сенчина внимательным к отличительным признакам, маркерам города, — Шубинский расширяет список упоминаемых маркеров за счёт частных музеев, уральского рока — «Башлачёва, <...> Бутусова с Кормильцевым», старообрядчества, интенсивной художественной жизни («город множества поэтов, актеров и художников, стихийных каббалистов»), гибели здесь последнего русского царя и прихода отсюда «первого правителя постсоветской России». И отмечает совершенно прелестную, ярко-индивидуальную деталь: «Это единственный город, где на улицах выставлены старинные станки, и это оказывается не менее загадочным и волнующим, чем статуи богов или кости мамонтов». Собственно, всё, что он сказал, может быть прочитано как максимально сжатая энциклопедия екатеринбургской жизни в иногороднем представлении.

Прозаик **Марина Москвина** в своём дневнике («Библионочь нежна») прошлогодней «Библионочи», хэдлайнером которой она была, говорит не о Екатеринбурге, но о встречавших её там екатеринбуржцах — как знакомых: «В аэропорту Кольцово встречал меня поэт Сергей Ивкин, ответственный за коммуникации Белинки, распахнутый всем ветрам, чья доброта, чистота и начитанность еще спасут этот мир»; «Утром вышла на улицу и увидела Ивкина в обрамлении двух Лен — зеленоглазой красавицы Гармс и Елены Соловьёвой в синем платье с коралловым ожерельем»; «...У книжного прилавка меня встретила прекрасная Елена Бушуева, бард и менестрель», — так и безымянных: «Два картинных человека в зале особенно привлекали мое внимание, чем-то родственные моим эксцентричным героям: на первом ряду сидел эффектный мужчина во всем черном — в непроницаемых черных очках <...>. И убежденный сединой джентльмен в ковбойской шляпе, остроносых ботинках, подпоясанный широким ремнем, все пальцы у него были унизаны драгоценными перстнями». Именно люди, их обыкновения, их манеры общаться и организовывать жизнь вокруг себя воплощают для Москвиной дух места, его гений; сам же город в основном мелькает фоном, быстрым перечислением всё тех же знаковых деталей: «Потом мы гуляли по Плотинке и любовались на Исеть», «отправились обедать в ресторан “Высоцкий” <...> расположились у окна и с высоты обозревали Екатеринбург земной и небесный». Подробно разворачивается город только в самый последний день, в пересказанной автором экскурсии по екатеринбургскому конструктивизму — и начинает наконец быть видимым, жить и дышать: «Перед нами проплывали обшарпанные дома-корабли, дома-коммуны с их мощной экспрессией, соединением грузного и легкого, прямого и округлого, бетонных блоков и непредсказуемых оконных проемов, ритмом и контрастом, таинственными оптическими эффектами, движением воздуха и солнечных лучей, переходами, замкнутыми дворами и плоскими кровлями...».

Вот, наконец-то перед нами городская среда, сама её ткань, а не только те гвоздики-достопримечательности, между которыми она натянута!

Прозаик, поэт и драматург **Дмитрий Данилов** («Какое дело мне до вас до всех») вообще изящно уходит от разговора о городе как таковом (хотя именно в этот, четвёртый уже, приезд автору, по собственному признанию, удалось «по-настоящему»

его рассмотреть); наскоро упомянув пару несомненно знаковых топов: гостиница «Центральная», она же «Savoу», небоскрёб «Высоцкий», — Данилов размещает далее большое стихотворение, написание которого город его навёл. (Тоже ведь использование, инструментализация города! — совершенно, казалось бы, не присущие *внешним* людям, которым бы всё открывать, описывать да исследовать.)

Зато в следующем эссе — «**Екатеринловске**» **Дмитрия Бавильского** — читатель оказывается щедро вознаграждён.

Далеко не во всех здешних травелогах (которые даже не все и травелоги) проблематизируется, особенно систематически, — хотя вообще так или иначе замечается — и городская среда как таковая, помимо достопримечательностей / маркеров / общезначимых точек, и её восприятие. Счастливое исключение тут составляет, пожалуй, один только Бавильский с его редкостным умением — и принципиальным стремлением — «делать воздух видимым» (как он сказал в одном из давних интервью) и вообще вниманием к структурам повседневности, к тому, как они вылепливают человека, к телесным отношениям со смыслами. Бавильский единственный не просто обращает внимание на то, как восприятие города зависит от способа взаимодействия с ним, в частности, «сильно зависит от точки входа в него и, соответственно, угла (ракурса) обзора», но и делает это предметом исследования. Важно тут всё вплоть до погоды, которая запускает собственный ряд ассоциаций (они же — ключи к пониманию пространства); у Бавильского, арт-критика по одному из его профессиональных обликов, этот ряд выстраивается на материале изобразительных искусств: «Приехал я <...> в тёплый и безветренный четверговой дождь, дававший вечером у бульваров импрессионистические блики, причем не нежные, как у Моне, но четкие и агрессивно яркие, струпьями которых злоупотреблял Коровин. Дожливый город крайне фотогеничен, но первый снег, выпавший через пару будней, еще графичнее. Особенно на фоне всевозможных конструктивизмов и оконных проемов прочего архитектурного авангарда».

И тут уж совершенно теряет значение, о «провинции» или о «центре» идёт речь, — при том, что в различии этих типов пространств Бавильский прекрасно отдаёт себе отчёт: в любых пространствах он обращает внимание на одно и то же — на то, как там, под влиянием обстоятельств любой степени мимолётности, происходят процессы смыслообразования, как потайная изнанка жизни взаимодействует с внешней её оболочкой.

Деление на «центр» и «окраины» / «провинцию» в свете таким образом настроенного внимания оказывается несущественным, не первостепенным. Тем не менее, говорить, например, о пространствах *насыщенных* и *ненасыщенных* / *разреженных* (чем? смысловыми стимулами) оказывается возможным, и такое деление для Бавильского, пожалуй, уже в числе первостепенных.

Бавильский — уроженец и житель Челябинска, города, примерно равного Екатеринбург по статусу регионального центра, в этом смысле общающийся с Екатеринбургом на равных, по горизонтали («когда третий город федерации находится слишком близко (меньше двухсот км), значит, там примерно все то же самое, что и у нас»). Формально он, конечно, наблюдатель провинциальный, но такой, взгляд которого в значительной степени структурирован центром, — человек с *интериоризированным центром*, так сказать. Для освоения-присвоения города, в котором он прежде бывал по разным утилитарным поводам («Обычно жители провинции вроде моих родных челябинцев приезжают в соседний Екатеринбург по каким-то конкретным надобам, доступным лишь в метрополии. / Ну, там, в консульство, к офтальмологам в Фёдоровский институт, не опоздать на чартер из Кольцово, в оперу или к Коляде, из-за чего сам город как таковой расплзается до смазанной панорамы, схваченной беглым взглядом, либо упирается в тупик цели»), он ставит себе задачей (не курсировать от одной достопримечательности к другой, упираясь в тупик цели, но) увидеть «Екатеринбург на скорости “пешего шага” ровно таким, какой он сегодня и есть».

Решающее большинство участников этого большого разговора о Екатеринбурге по своей позиции — *туристы* (есть исключения: Сергей Ивкин — *проводник*, Екатерина Симонова, о которой чуть ниже, — по существу тоже; Роман Сенчин с помощью Екатеринбурга путешествует по собственному внутреннему пространству и решает свои творческие задачи, — это как назвать: *пользователь*? — Дмитрий Данилов вообще от всяческой позиции ушёл, но мы успели догадаться, что и он, в сущности, — *пользователь*), и только Бавильский — *исследователь*.

Не раз в разных своих текстах он повторяет строчку из собственного юношеского стихотворения: «пыль сонных и пустых предместий», и вот сонное и пустое — это, пожалуй, и есть для Бавильского то, что мы здесь называем провинцией, выясняя содержание этого понятия.

Центр бодрствует (или ему кажется, что бодрствует). Провинция видит собственные сны.

Чтобы жить полноценной личностной жизнью в провинции, понимаемой таким образом, человек, по Бавильскому, постоянно должен её заполнять, насыщать, делать явным и использовать её не замечаемый обыкновенно эстетический потенциал... Тут среда как таковая (предположительно) не держит — требуются собственные повышенные усилия.

В таком случае к признакам провинции у нас есть все основания причесть: разреженность; пустотность; сниженную структурированность (аморфность? Хаотичность?..).

Обращает Бавильский внимание и на тот образ Екатеринбурга в целом, что существует в общекультурном сознании и над развитием которого работают все авторы этих эссе: «Екатеринбург активно выделяется на общем фоне российских городов своеобразием “сурового стиля” (не путать со “звериным стилем” Перми) — собственного четкого и концентрированного образа существования, развивающегося по оригинальной траектории. Что вроде бы и отличает “мегаполис” от прочих населенных пунктов с повесткой, навязанной извне (общим уровнем интеллектуального или цивилизационного развития)».

Поневоле коротко (иначе этот текст никогда не закончится) — о других восприимчивых и описательных стратегиях, представленных в «Де Геннине» места. Писатель и критик **Владимир Березин** (пишущий в основном о том, что с ним происходило в связи с «Библионочью») читает Екатеринбург через собственные воспоминания о городе тех времён, когда тот ещё был Свердловском (они, правда, читателю не открываются, важен лишь сам факт их существования): «...Вокруг меня был город, похожий на Свердловск. Те, кого я тут любил, либо умерли, либо уехали. Так что это был несколько другой город, наверное, Екатеринбург»; так его эссе и называется: «**Путешествие в Свердловск**». Из сегодняшнего города — лишь пара примет: «музей современного искусства» и «геологическая камералка», не считая, конечно, библиотеки имени Белинского. В целом город Березин называет «угрюмым», но, скорее всего, это всего лишь ироническое цитирование расхожего стереотипа.

Поэт **Татьяна Ризденко** («**Сбывшийся Екатеринбург**»), рассказав о давней истории своих упорных неувстреч с городом, проходит по некоторым знаковым его точкам (кроме «Высоцкого», Белинки и гостиницы «Центральной», это «милый, с высокой концентрацией хороших работ» Музей наивного искусства; одна из площадок Промышленной биеннале — «действующий завод, уступивший часть площадей арт-пространству», но настоящее проступание лика города сквозь все эти общеизвестные маркеры начинается, когда автор «пошла сама-одна по Либкнехта, радостно вращая головой, сворачивая, разглядывая, читая, дивясь несходству Екатеринбурга с другими виденными мною гигантами. Его уверенной мощи, шири, раскидистости. Конструктивизм. Тёплые островки деревянного модерна».

Писатель, поэт, библиограф, специалист по Розанову **Анна Голубкова** в своём коротком и предельно плотном эссе «**Воздух Урала**», читает город очень нетипичным

образом. Она сразу же видит Екатеринбург как *гиперместо*: усматривает у него «абсолютно неповторимый облик» — «даже микрорайоны здесь имеют своё собственное лицо» — и прочитывает город как «пространство возможности свободного выбора». Совершенно независимо от рутинного деления на «центр» и «провинцию» Екатеринбург оказывается для Голубковой живым воплощением свободы: «Каждая улица открывает здесь свою перспективу и предлагает выход в любую сторону».

Критик, эссеист (на самом деле ещё и прозаик) **Александр Чанцев** («**Конструктивистский рок камней**») пишет хронику своего пребывания в городе — пронумерованными тезисами, которые так и хочется назвать иероглифами: в каждом — самое существенное, ничего лишнего. В основном — взаимодействие с людьми, темы разговоров с ними — очень конспективно. Где только возможно, он опускает глаголы — читатель и сам без труда достроит: «В уоцапах с Леной и Бавильским»; «Я Саше гифт»; «Ведущая, как аплодисменты разрушают. Я реплики с места...» — больше похоже на зарубки для личной памяти. Городское пространство как таковое здесь вообще не предмет внимания, одни только неминуемые опорные точки: квартал чекистов, дома-коммуны; «Высоцкий», Белинка, Литквартал, Литературный музей, Музей андеграунда, Ельцин-центр, вьетнамское кафе (в этой подборке травелогов оно встретится нам не раз)... Немного замечаний о характере места всё же есть: «Понимаю, что Ебург — такой город региональной эмиграции». В целом же город делается более понятен автору благодаря сравнениям: «За рекой тут <...> прямо деревянные дома, как в Томске и Архангельске». Интересно, что Чанцев обращает внимание на характерные местные практики: «...Кажется, все тут настойки собственные создают».

В ряду екатеринбургских текстов есть и ещё один, выбивающийся из ряда уж совсем. Просто потому, что он — не о Екатеринбурге, а о Нижнем Тагиле («**Невыносимая тонкость бытия. Про Нижний Тагил**»). Это небольшой город в Свердловской области, и написала о нём жительница Екатеринбурга и уроженка Тагила, поэт **Екатерина Симонова**, — ещё один, помимо Сенчина, Ивкина и Бавильского, инсайдер русской провинции. (Как мы заметили выше, она занимает позицию *проводника*: проводит читателя по своему родному городу.) Ответ на вопрос, как Симонова видит Екатеринбург, в данном случае предельно прост: она на него вообще не смотрит. (Одно из *гипермест* — Петербург — как неминуемый образец всё-таки появляется и здесь, но на сей раз для этого как раз есть конкретные основания: «Все основные проспекты Тагила были спроектированы и построены сосланным на Урал в суровые старосоветские годы ленинградским архитектором, поэтому улицы чем-то отдаленно напоминают Питер: как те же простор и грандиозный воздух, так и тот же угрожающий камень, тоскливое небо, потайные глубинные дворы, угловые башенки на домах, классика и основательность, острый холод и тяжелый ветер».) Областной центр упомянут единственный раз: в связи с тем, что ехать туда из Нижнего Тагила на автобусе два с половиной часа, что местные жители предпринимают такое дальнее путешествие только по совсем уж большой и неотменимой надобности, и вот, например, бабушка автора на протяжении целых восемнадцати лет ни в какой Свердловск-Екатеринбург не ездила, и вряд ли так поступала она одна, и это уж точно не лишало тагильскую жизнь содержательности, в полной мере внятной только местным жителям.

Вот и ещё одна примета качественной, полноценной провинциальности: замкнутость на себя, самодостаточность. Минимум потребностей в исходящих, идущих вовне связях. (Ниже мы увидим, что в мире бесермян **Олега Зоберна** эта потребность минимальна, а в мире луговых мари **Дениса Осокина** её нет, кажется, вообще. Чукчи же **Владимира Лидского** вообще были бы только счастливы, если бы люди из более центральных областей мира к ним не лезли, а на попытки всё-таки лезть отвечают с изумляющей пришельцев жестокостью.) Независимо от того, насколько

центр свою провинцию знает (обыкновенно не очень), он в ней нуждается — хотя бы для того, чтобы быть центром. Провинция — чем глубже, чем самодостаточней и автономней.

Кстати, при внимательном рассмотрении понимающими — с любовью без идеализации — глазами у Нижнего Тагила оказывается индивидуальное лицо и более того — значимость некоторых здешних явлений за пределами города: «...Нам можно гордиться (в порядке перечисления важности) наличием бесчисленных собачьих свадеб, поражающим воображение количеством банков и собственными поэтической и художественной школами плюс школой подносной росписи. Все три — общероссийского масштаба, и это уже не легенда».

Об эссе Симоновой необходимо ещё сказать, что в нём старательно и умело имитируется взгляд извне — отстранённый и ироничный («Жизнь в маленьком городе вообще полна абсурдной прелести и невыносимой тонкости бытия»). Это получается даже почти убедительно... но стоит всмотреться — станет очевидно, что на самом деле рассказ о Нижнем Тагиле, родном и изначальном городе автора, — очень внутренний, взволнованный и нежный. Это всё о единственном и любимом. А ирония — просто необходимая защита.

П2. В глубине окраин

Олег ЗОБЕРН. Бесермяне. Повесть о малом народе // «ДН» (2023, № 3)

За своими героями-бесермянами **Олег Зоберн** отправляется сначала в Ижевск, а потом во глубину Удмуртии и описывает их — неважно, в какой степени выдуманных, — как этнограф, и текст его весь, целиком, — подробное этнографическое описание жизни «бесермянских деревень», на внешний взгляд несомненно экзотичной и архаичной — настолько, будто и XX век там ещё не наступал, не то что XXI. «Даже приданое у бесермян исчисляется по старинке в пудах мороженой ягоды».

«В полях Удмуртии как раз поспела дикая сладкая мелкая клубничка, которой нигде больше не сыщешь. Это основа основ. Бесермяне гонят из неё самогон, варят варенье, пекут с ней пироги, замораживают в ледяных кладовых на весь год. Орнамент национальной одежды бесермянок похож на клубничный куст. С помощью дикой клубники бесермяне лечатся и задабривают бога».

Действительно малый (две тысячи с лишним человек) финно-угорский народ с таким именем в самом деле обитает на северо-западе Удмуртии. Но совершенно бесполезно задаваться вопросом, в какой мере жизнь их такова, как описывает автор. Ну, скажем, неужели бесермяне всю жизнь секут своих женщин, непременно ли рябиновыми розгами, и вправду ли это у них важнейшее эротическое действие, а может быть, и важнейшее действие вообще, — зря, что ли, текст этими рябиновыми розгами начинается, ими же и заканчивается? («По традиции вместе с приданым мужчина получает право выпороть свою жену розгами, скрутив ей руки за спиной толстой льняной верёвкой. Бесермянка принимает порку с благодарностью и удовольствием. Это происходит во время первой брачной ночи. Затем порка продолжается всю жизнь. Бесермянские розги делаются из ветвей молодой рябины».) Так ли именно организован у них самогонный промысел и сопутствующая ему, так сказать, малая архитектура («Гонят самогон бесермяне в особых избушках, рубленных “в чашу”. Они похожи на обычные жилые постройки, только раза в три меньше и с одним оконцем, обращённым на запад»), точно ли все поголовно бесермяне непременно спят на общепринятый Новый год и никогда его не отмечают, а взамен того отправляют собственные ритуалы, ни малейшего отношения к постхристианскому новому году не имеющие? (Вот бога Инмара они действительно почитают.) Степень фантастичности диковинных на наш столичный взгляд практик героев повести Зоберна тут непринципиальна совершенно. Принципиально одно: экзотичность, радикальная странность

изображаемого автором народа, — настолько, что единственно возможным способом их видения кажется взгляд извне. Такой взгляд нам тут и представлен — глазами человека *центра*. Принципиален сам жест бесстрастного изумления.

И чего точно нет в этих краях на берегах Камы, «апатично» несущей «свою тёмную воду»: так называемых достопримечательностей, — точек аттракции, знаковых пространственных маркеров (разве что «самогонная избушка, которой больше пятисот лет», сохранившаяся ещё с тех пор, «когда Русью здесь и не пахло. Самогон в ней, конечно, давно не гонят. Показывают туристам». Но так это в Ижевске, а он вообще региональный центр и потому не в счёт, — Зоберн же описывает жизнь, от центра далёкую и не очень-то в нём нуждающуюся: «За свои сто три года жизни Кузьма Васильевич Хухарь ни разу не покидал родной край и только однажды был в Ижевске, сходяв туда пешком»). «Незримое Бесермянское царство», независимо от того, что вполне внятно локализовано, — в каком-то смысле непространственно, а в каком-то, пожалуй, и невидимо. Оно соткано из устойчивых традиций: гнать клубничный самогон (а пить его непременно «из специального берестяного стаканчика»), вялить перепёлок («Вяленая перепёлка для бесермян священна. Она олицетворяет нерушимость уклада их жизни»).

На этих бесермянских страницах читатель не раз вспомнит Дениса Осокина, о котором чуть ниже (особенно невинный и всепроникающий языческий эротизм его героев, синоним самой витальности и едва ли не главнейшее её выражение). Но у Осокина всё это настолько иначе, что можно, наверное, его даже здесь и не вспоминать. Рискну сказать, что они с Зоберном, говорящие как будто об очень сходных предметах, — противоположности друг другу. У Осокина, прежде всего, другие интонации, прямо следующие из совершенно другой позиции. Осокин — чистейший лирик, глубоко взволнованный своими героями и их обстоятельствами, очарованный ими, попросту влюблённый в них, во всю ту жизнь, в которую они погружены (да, его письмо густо-этнографично, но это этнографичность поэтическая — средство создания шемящей внутренней музыки), — чего совершенно нет у бесстрастного Зоберна. И (наверное) главное: Зоберн — наблюдатель *внешний*, Осокин — *внутренний*.

Владимир ЛИДСКИЙ. Эскимосско-чукчанская война // «ДН» (2017, № 10)

Повесть Владимира Лидского, основное — хотя совсем не единственное — место действия которой — Чукотка (вот уж окраина окраин — до центров любого порядка далеко), написана одним сплошным предложением и, соответственно, одним громадным абзацем. В принципе, разбить этот текст на отдельные предложения — добавив ему тем самым больше и воздуха, и возможности для читателя перевести дух и переключить внимание, и, таким образом, банальной читаемости не составило бы никакого труда, но совершенно очевидно, что такая варварская операция грубо нарушила бы авторский замысел; нам остаётся всего лишь реконструировать (хотя бы на уровне предположений), в чём именно он состоит. (Ну вот, поддавшись суггестии текста, я уже начинаю писать как Лидский, всё в одно большое предложение, но будем сопротивляться соблазну — Лидский может быть только один.) В пределах этого огромного, как прако́нтинент Гондвана, предложения Лидский умудряется переключать стилистические регистры, ускорять и замедлять события, менять крупные и общие планы, населять текст чрезвычайно разными персонажами с яркими характерами, переплетать множество сюжетных линий... — то есть в целом текст получается на удивление динамичным.

Чукотская жизнь — наиболее провинциальная из всех, что здесь представлены, почти не артикулированная пространственно и уж совсем без всяких «достопримечательностей» — состоит (ещё похлеще бесермянского) сплошь из колоритнейших, глубоко чуждых «центральному» человеку практик, ими и создаётся: «...Дядя Богдан поначалу и не пришелся ко двору, ибо пах столичную тюрьмою,

что было ненавистно чукчам, но потом, когда он, хорошенько пропотев, бросил мыться и только изредка обтирался собственной мочой, пропитавшись густыми запахами шкур, покрывающих жилища, дымом, парным оленьим мясом и кровью, перемешанной с морозом, пометом телят, ворванью да сырой собачьей шерстью, вот тогда-то он и стал своим, и чукчи от него носов более не воротили, а прошло еще несколько времен, и дядя Богдан, подражая благодетелям своим, перестал есть хлеб, соль, овощи и залюбил олений жир да стал позволять собакам вылизывать после себя обеденную миску, дабы не мыть ее в снегу...»

Неважно, что «эскимосско-чукчанской» войны, то есть между чукчами и эскимосами, как признаёт сам автор, никогда не было. Воевали — и в истории, и в повести — чукчи с совсем другим противником (с русскими / европейцами, пытавшимися «немирных аборигенов» то цивилизовать, то опять же цивилизовать, но при этом ещё и так, чтобы вопреки всему их чукотскому естеству приобщить их к делу мировой революции. Спойлер: кончалось это очень, очень плохо — причём всякий раз); а в повести сражаются друг с другом и весьма эффективно уничтожают друг друга ещё и сами европейцы. Выражение, ставшее заголовком, придумал (уловил среди своих догадок и интуиций) сам автор для описания событий, случившихся в основном на самой, кажется, дальней из мыслимых окраин Российской империи. Сама возможность такой формулировки, кстати, создаётся взглядом на украинную жизнь извне, при котором (даже не очень тонкие) различия между, скажем, чукчами и эскимосами оказываются не столь принципиальными.

Суть же замысла, потребовавшего себе для воплощения именно гиперпредложение, я угадываю так: одновременность всего происходящего в повести (а события её происходят вообще-то даже в разных веках, — что не мешает им переходить друг в друга моментально и практически без зазоров), зыбкость, проницаемость и в конечном счёте несущественность границ между разными пластами событий, в результате чего всё происходящее на Чукотке (и даже за её пределами — например, на острове Формоза — Тайване, куда заносит некоторых героев этого по-романному многонаселённого произведения) случается в одной плоскости и сливается воедино.

Вот это, кажется, — радикальнейший случай взгляда *извне*: в таком виде земные события могут предстать разве что зрению самого Бога — или, скажем чуть осторожнее, — Трансцендентного Наблюдателя (совершенно независимо от того, что автор не раз подчёркивает свой земной человеческий статус, — неважно, он всё равно присваивает и практикует трансцендентный тип взгляда).

Такое выстраивание текста может быть также — что не отменяет предыдущей версии, скорее, дополняет её, — формой онтологического суждения: о том, что у провинции, особенно совсем далёкой от всего центрального и очень-очень глубокой, собственные отношения со временем. Если центры (о которых в повести речи вообще-то нет, но догадаться нетрудно) — места, где время, особенно историческое, движется линейно, из оставляемого прошлого в обретаемое будущее (притом, как правило, быстро), то с провинцией сложнее. Очень похоже на то, что провинция склонна время накапливать, аккумулировать, не говоря уж о том, что движется оно в ней существенно медленнее; и чем дальше провинция от всеускоряющего центра, тем медленнее это происходит — вне всякой зависимости от скорости отдельных событий, которая может быть и пугающе-стремительной (так стремительно впадает в немилость у власти и оказывается расстрелянным один из героев того пласта повествования, что относится к первым революционным годам XX века, Миша Мариков со товарищи). Время тут становится скорее уж пространством. Для Лидского потому и оказывается возможным моментально до незаметности переходить из одного времени действия в другое — а их в повести как минимум три, включая время самого повествователя, — и это века XVIII, XX и XXI, — что все эти времена — в сущности, пространство, притом одно и то же; а повесть его становится актом наиболее радикальной рефлексии об устройстве провинциального существования.

Денис ОСОКИН. Небесные жёны луговых мари //
Денис ОСОКИН. Огородные пугала с ноября по март. — М.: АСТ, 2019

Денис Осокин занимает позицию, (радикально же) отличную от занимаемой решительно всеми остальными доселе прочитанными авторами. (В принципе, чтобы рассмотреть эту позицию, можно было бы взять любую из его текстов-книг — сказанное относится к ним ко всем без исключения; даже к тем, где речь идёт о Казани, которая во внелитературной реальности вполне себе республиканская столица.) Место действия всех его текстов — провинция без признаков центра и без потребности в нём. В качестве места издания «Небесных жён...», правда, указан город Уржум (какой-никакой центр — Уржумского района Кировской области; впрочем, в жизни и смерти луговых мари и их небесных жён он никак не присутствует), в качестве времени издания — 1970-й, — Осокин всегда так делает, представляя свои тексты как отдельные книги, изданные непременно не здесь и не сейчас, — но ни единой приметы начала семидесятых годов XX столетия, тогдашней цивилизации с её условностями в этих текстах не сыскать. Таинственным образом, сюда даже не заглядывало христианство (не говоря уж о советской власти); ещё более таинственным образом, не заглядывали и языческие божества (может быть, они не показываются нарочно, из особенной хитрости или осторожности: тут всё пропитано сакральностью, сочится ею, а облик у этой сакральности один: телесный эрос). Всё, о чём тут речь, хотя и выглядит как живое, чувственное, движущееся время с его обретениями и утратами — там у людей даже возраст есть! — происходит в вечности (по крайней мере — в некотором «всегда»). Не на это ли, кстати, указывает и то, что истории в тех же «Небесных жёнах...» рассказываются с глаголами в настоящем времени?

«в дни месячных овроси наигрывает на листе черёмухи — никуда не ходит. сидит на скамье у дома — высокая — задумчивая — худая. подходит тютаяй — и садится рядом — слушает как овроси играет. иногда подсвистывает — но сразу замолкает — ему кажется что овроси свистом его недовольна. ей двадцать пять — а тютаяю двадцать. овроси не замужем — а тютаяю невесту неделю как сосватали — весёлую крепкую унави — соседку. тютаяй уже успел её потрогать и посмотреть — а унави хихикала, а сестра унави — овдачи — как-то потом на улице погрозила ему пальцем. черёмуховый лист — на котором овроси играла — рвётся: у него короткая жизнь».

В этой вечности, в отличие от нашей, и женятся, и выходят замуж. Это плотская, вещная, страстная вечность. «невесты и жёны луговых мари на земле с небесными не имеют заметных отличий».

Пространство здесь как будто совершенно конкретное, иногда оно даже называется по именам здешних селений: «одарня из малого кожлояла <...> едет с мужем на базар в морки», — но облика его не видно (разве что совсем близкие приметы, способные быть где угодно: улица, скамья у дома, забор...), они и не важны. Здешняя жизнь в каком-то смысле тоже *непространственна*.

Для этой провинции, граничащей скорее уж с вечностью (или, например, с миром мёртвых, обитатели которого без всяких проблем пересекают границу в обе стороны), чем с более центральными областями страны, Осокин создаёт собственную манеру речи — очень близкую к разговорной (под неё подобраны и специальные орфография и пунктуация: изгнаны — наверно, как задающие иерархию — заглавные буквы; церемонные запятые уступают место энергичным тире и точкам; двоеточие — как, видимо, знак, настраивающий внимание — допускается). На свою провинцию он смотрит изнутри и говорит голосом, совершенно не соотносимым с теми моделями, что задаются какими бы то ни было центрами. Ближе всего его тексты — в том числе и те совсем небольшие истории, числом тридцать восемь, что составили «Небесных жён...», — к фольклору, к устным байкам, причём имеющих явно ритуальное, магическое значение. Вся физиология, о которой тут идёт речь (а речь тут как будто только о ней и идёт) — магична и сакральна насквозь, потому что имеет

прямое отношение к жизнеобразующим силам — глубоким и таинственным. Прочувствовать и прожить их возможно и даже необходимо, а вот постичь, по всей вероятности, не удастся. Да и не нужно.

И наконец пришло время ответить на вопросы, заданные нами самим себе в начале этого разговора и наметить некоторые выводы.

Связывают ли провинцию с центром нерасторжимо-парадоксальные отношения притяжения-отталкивания, самоопределяется ли провинция через это? Для некоторых её областей это несомненно: как говорит Дмитрий Бавильский, те же «челябинцы охотно делятся на две противоположные, московско ориентированные и питерски ориентированные партии». (За исключением, конечно, тех случаев, когда глубочайшая провинция не обращает на дальние центры никакого внимания; такие случаи мы тоже рассмотрели). Диктуют ли центры своим провинциям языки самоописания, модели само моделирования? В целом да. Из авторов рассмотренных текстов только, пожалуй, Денис Осокин старается изобрести для своих принципиально провинциальных пространств собственные языки, символические системы (так и хочется сказать — мифологии; да почему бы и нет?), интонации и даже орфографию с пунктуацией.

В целом очень похоже на то, что провинция и центр, два равно необходимых типа пространства, нужны (в том числе и самим себе) (и) для того, чтобы возражать друг другу, вырабатывать всяческие взаимоальтернативности.

Мы могли заметить также, что в П2 существенно меньше, чем в П1, общезначимых — то есть имеющих значение за её пределами — знаковых мест, точек смысловых и/или символических притяжений, «выходов в общее поле обмена», как это называет Бавильский: П1 отличается именно что повышенной их концентрацией. Это можно использовать даже в качестве определяющего, центробразующего признака: где высока концентрация (способных претендовать на общезначимость) точек символического притяжения — там и центр. Более того, в этом даже есть некоторая ловушка: пространство-центр — пусть даже П1 — начинает мыслиться исключительно через эти точки, и тогда пропадает из виду чуть ли не всё остальное. Тот же Бавильский по чуть иному поводу сказал, как мы помним, «сам город как таковой расплзается до смазанной панорамы, схваченной беглым взглядом, либо упирается в тупик цели». (Отсюда следует и то, что наилучший способ рассматривать город — делать это бесцельно. «Достопримечательности» — тоже цели, а значит, — тоже тупики).

П2 как символическое явление строится / разворачивается принципиально иначе, чем П1: не столько или вовсе не с опорой на какие-то знаковые точки, но через особенности местного поведения, типичные практики, местнозначимые мифологии и т.д.

Да и вообще, настоящее (а не поверхностно-туристское) вживание в провинцию у наблюдателя — откуда бы тот ни пришёл, из центра ли, из другой ли провинциальной области — начинается (и то, что казалось *не-местом*, стремительно набирает всё больше черт *места*, обретает облик) там, где речь идёт не о местах, по крайней мере — не в первую очередь о них, — но о людях, о человеческих практиках и обычаях. Для всего этого пространство — не более чем вместилище. В какой-то степени случайное — надо же их куда-то вмещать. Хотя удалённость от государственного центра и от каких бы то ни было административных центров выработке требуемой, насущно необходимой для любой культуры странности, своеобычности, невмещаемости в типовые рамки очень способствует.

И да, у нас в центрах — история, у них — метафизика. И чем глубже провинция — тем ближе она к вечности.

Евгений Чигрин

По краям печали и земли

Вспоминая поэта Анатолия Кобенкова

Мы познакомились в Москве на 67-м Всемирном Конгрессе ПЕН-клуба в мае 2000-го года. Нас поселили в Переделкино. Всех уже не вспомню, но некоторых мысленно вижу: поэты Юрий Беликов (Пермь), Александр Колесов (Владивосток) и Марина Кулакова (Нижний Новгород); прозаик Борис Черных (Благовещенск), которого поддерживал Фазиль Искандер, Михаил Успенский (Красноярск) и кто-то из нестоличных писателей. Да и я в те времена обретался не в белокаменной, а в тех местах, где бросают *камешки с крутого бережка/ Далёкого пролива Лаперуза...*

Сколько открытий и узнаваний, встреч и разговоров! Целая неделя позитива и мальчишества. Поэзия витала не только в весеннем воздухе, но и звучала: Юра Беликов и Толя Кобенков читали стихи в переделкинских беседках, Белла Ахмадулина и Андрей Вознесенский — в зале гостиницы «Рэдиссон Славянская», там же выступали поэты из стран Африки. Андрей Битов с нобелевским лауреатом Гюнтером Грассом (Германия) переходили из зала в зал. Всмотривалась сквозь серьёзные очки Мария Розанова, а Василий Аксёнов подшучивал над Юзом Алешковским, над знаменитым Юзом, который сочинил (ну да, вы все знаете!) песню «Товарищ Сталин, вы большой учёный». Мы с Юзом уже успели выпить водочки на Киевском вокзале... в ожидании лужковского банкета, который превзошёл всяческие ожидания. Помню, что многие надеялись увидеть Габриэля Гарсия Маркеса, но ему помешала болезнь.

Перебираю фотографии: вот я с Юрием Кублановским, мы только что познакомились, вот — Владимир Маканин в окружении ватаги российских и европейских журналистов. А вот яркий снимок с переделкинского банкета: поэт и драматург Орландо Россарди, сбежавший с острова Свободы в США, а потом в Испанию, — его антология «Кубинская поэзия» (1973) считается первым крупным собранием, объединившим кубинских поэтов. Снимков того периода, не совсем качественных, хранится у меня немало. Впрочем, скоро эту макулатуру, как и владельца, отправят в те места, про которые сказал Харон в запале: *поток огромный, мне лодки мало,/ да и обол ваш медный в аиде-баре/ не принимают больше...*

Но я пишу не о пеновских событиях, а об иркутском, московском и дальневосточном поэте Анатолии Кобенкове.

Где мы виделись ещё? Да в Красноярске, Москве, на острове Сахалин, в Иркутске, Ангарске, Листвянке и опять в Москве. Прекрасная география! Конечно, на моём чердаке памяти отдельным сундучком, слегка запылившись, хранится первый Международный фестиваль поэзии на Байкале, который придумал и сделал частью жизни Толя Кобенков, сумевший убедить даже власти, включая министра культуры России. Ау, всем новым и будущим министрам, где вы?!

Первый Толин фестиваль открылся 21 июля 2001 года в Иркутске, в Доме Волконских. О нём с восхищением писал Евгений Евтушенко: *Как прекрасно, что свои двери поэтам Москвы и Петербурга, США, Франции, Польши сегодня открывает Сибирь — сокровищница недр настоящего и будущего России. Без стихов любить Руси не быть.*

Лучшие залы Иркутска, Ангарска, Братска, Шелехова, Зимы, Саянска и других городов и населённых пунктов были переполнены и отзывчивы, не говоря о большом поэтическом вечере в Иркутском академическом драматическом театре имени Н.П.Охлопкова. Вечер длился почти четыре часа — там яблоку негде было упасть. По дороге в гостиницу польский поэт Збигнев Домениак признался, что выступал во многих странах, но нигде не видел, чтоб такое количество народу пришло на поэзию. И добавил: «Сегодня я счастлив по-настоящему!»

Вот пишу и вижу, как в тумане, лодка проплывает бурятский посёлок Кутулик, там школа, где учился знаменитый драматург Александр Вампилов. И, может, именно там Толя прочитал стихотворение, где вторая строфа: *Александр Валентиныч,/ Саня на часок.../ Август спелой паутиной/ холодит висок...* А финальная: *и смеёмся мы, и плачем/ зная наперёд:/ будет смерть, потом — удача,/ не наоборот...* Вот именно: не наоборот.

На фестиваль были приглашены очень разные поэты: Александр Кушнер и Юрий Кублановский, Анри Делюи и Лириан Жиродон, Евгений Евтушенко и Олег Хлебников, Альба Торрес, Раймонд Мак Нис и... «Иных уж нет, а те далече...» Нет ни Анатолия Кобенкова, ни его друга, поэта и художника Владимира Пламеневского, ни читинца Михаила Вишнякова, ни красноярца Романа Солнцева, ни литературного критика Льва Анненского, ни трогательного Збигнева Домениака. Вспомнилось, что после фестиваля я перевёл и опубликовал его стихотворение «Бабочка» в газете «Советский Сахалин», и послал Збигневу экземпляр. А в ответ получил мейл: «...Как прекрасно, что моя "Бабочка" облетела мир от Польши до Сахалина, но бабочки долго не живут, скоро и мне улетать в другие миры...» Спустя неделю поэта Збигнева Домениака не стало. На 42-м году жизни ушёл Виталий Науменко, которого Кобенков считал своим учеником. Как-то тихо, незаметно... В 2014 году Виталий написал, по моей просьбе, предисловие к подборке Кобенкова для московской антологии поэзии, которую я составлял. Вот один абзац: «Есть люди, которым фатально не везёт с учителями. Есть те, кто их и не ищет и всю жизнь плутает в поисках самого себя. Ученикам Анатолия Ивановича Кобенкова, и мне в том числе, очень повезло, что мы совпали с ним по времени. Наше становление наложилось на его внутреннюю (очень резкую) эволюцию как поэта, но это нисколько не мешало ему терпеливо возиться с каждым, в ком он замечал хоть что-то жизнеспособное: хватался за строчку, за сочетание слов».

Нет с нами и Евгения Евтушенко, и Анны Саед-Шах, и других участников того легендарного фестиваля. Зато остались их книги. Это дорогого стоит. Не растерять бы...

Толя Кобенков умел знакомить и объединять абсолютно разных литераторов. Неповторимое обаяние его личности работало безотказно, и энергии хватило на все шесть фестивалей, которые успел провести Кобенков.

В 2002 году мы встретились в Красноярске, где проходило Всесибирское совещание писателей, организованное мэтрами российской словесности Виктором Астафьевым и Романом Солнцевым, главным редактором журнала «День и Ночь». Сколько было разговоров и планов! Какие рассказы звучали и в стенах уютного литературного музея, и над суровыми волнами Енисея-батюшки!

А позже, помню, уже на Сахалине мы с Толей слушали птиц на берегу Охотского моря! Именно там, в Южном, «городе вьюжном», состоялся первый и последний сахалинский вечер поэта Анатолия Кобенкова, который вёл я и, как сейчас понимаю, вёл не очень удачно, но — очень старался. Кобенков почти мгновенно расположил к себе публику рассказами о молодости, прошедшей на Дальнем Востоке, о первых книгах и первых влюблённостях, и, конечно же, своими стихами, где тонкая

наблюдательность смешана с самоиронией, где сквозь дождевые облака сквозит застенчивая Толина улыбка. На фоне картины природы жанровые зарисовки как бы определяют направление жизни — в её настоящем и недавнем прошлом: *Нам с тобой дорогу проторили/ все, кто нынче осенью любили,— / дворники проспекты подмели,/ слесари трамваи починили/ бабушки деревья посадили/ по краям печали и земли...*

Именно так называется одна из его книг: «По краям печали и земли» (1989). Первоначально это была дипломная работа в Литературном институте, которую со сдержанным восторгом, как утверждает Википедия, поддержал советский поэт Евгений Винокуров, автор знаменитых стихов, ставших песней: *Но помнит мир спасённый,/ мир вечный, мир живой,/ Серёжку с Малой Бронной/ и Витьку с Маховой...* А Александр Жаров — автор не менее популярной песни: *Взвейтесь кострами синие ночи,/ Мы — пионеры, дети рабочих!* — со сдержанным бешенством осуждал всяческие импрессионистические образы студента Кобенкова. Что тут добавить? Пожалуй, вот что: первая книга поэта «Весна» (Хабаровск, 1966) вышла, когда ему было 20 лет! И это в те времена, когда не членам Союза писателей книг не издавали, но чтобы вступить в Союз требовалось предъявить не менее двух книг! Замкнутый круг. Тем более что жил Кобенков вдали от столицы и писал чистую лирику. Вслед за первой вышла вторая книга — «Улицы» (Иркутск, 1968).

Как поэт Анатолий Кобенков публиковался с 15 лет и дебютировал в областной газете «Биробиджанская звезда».

Что сказать о стихах? Уровень поэзии Кобенкова говорит сам за себя, и всё-таки нельзя не отметить: отсутствие пафоса, особая доверительная интонация, абсолютный поэтический слух и, конечно, тончайший вкус, без которого настоящего поэта не бывает. Да, он мог шегольнуть броской метафорой, но никогда эти метафоры не были на грани фола, не говоря уже о том, чтоб сочинять метафоры ради метафор и поражать «поэтических простаков», которых всегда хватает в литературных сообществах. Кроме того, стихотворения Кобенкова наполнены не только сказанным автором, но и потаённой жизнью того воздуха, в котором эти стихи рождались. Рискну сказать и другое: поэт, особенно в свой последний период, научился — в только ему присущей манере — говорить с библейскими персонажами, с апостолами, авторами четырёх канонических Евангелий — Матфеем, Марком, Лукой и Иоанном. И не только. Поэт научился общаться на своём поэтическом языке с Самим... и при этом не забывать нас, читателей, и девочку, которая *в Елоховскую церковь/ маленькое сердце донесла*. И о том, что *всё действительно, покуда сущен я./ Всё без лица, покуда безразлично/ моё лицо: вся книга Бытия/ без моего глагола безязычна...* Ну и конечно: *...Ибо все на земле должны/ подчиняться сухим приказам/ милосердья и сатаны*. Именно так, и тёмные сущности, те самые, что всегда рядом с искусством, были известны автору: *Что бы делало твоё добро, если бы не существовало зла,/ и как бы выглядела земля, если бы с неё исчезли тени?*

Толя любил не кричащую о себе музыку, он хорошо знал классику и джаз, писал о современной живописи, дружил с художниками. И эти серьёзные увлечения вошли точными поэтическими находками в собрание его сочинений.

С момента ухода Анатолия Кобенкова прошло семнадцать лет, но лучшие стихи не потускнели, не обрели музейного лоска, а, наоборот, стали заметней — они живые, и замечательно звучат. Возможно, в наше, не очень поэтическое время, за поэзию принимают зарифмованные тексты на заданную тему, «датские» стихи, а также нагромождения «спецэффектов» и метафор, которые выдают за новое слово в поэзии. На этом фоне поэзия Кобенкова выигрывает вдвойне.

В моей библиотеке, помимо журналов и альманахов с подборками Кобенкова, хранятся три его книги: «По краям печали и земли», вышедшая десятитысячным тиражом в издательстве «Советский писатель»; большой сборник «Круг: книга стихотворений в семи частях», изданный в 1997 году Иркутске; и вышедшая в свет тоже

в Иркутске, тиражом семьсот экземпляров, прекрасно составленная книга «Осень: ласточка напела» (2000), которую поэт посвятил своей бабушке в честь её столетнего юбилея. Эту книгу издал крупный сибирский издатель Геннадий Сапронов, которого тоже сегодня нет с нами.

В авторском предисловии такие слова:

Прежде я думал: стихи всегда для кого-то. Сейчас думаю: из-за кого-то. То есть, конечно, не абы из-за кого, а из-за тех, с кем соприкасаешься. И не обязательно, как любили говорить прежде, душой. То есть соприкасаться душами — это хорошо, но и плечом или пакетом на лестничной площадке или в автобусе — тоже неплохо. От этого теплее. Тесновато, но зато, и правда, тепло...

В наше время, когда понятие «добро» нередко принимают за анахронизм, эти слова излучают тепло, наведённое незримым лучом из недавнего прошлого. Вспоминается осень 2010 года: очередной Международный фестиваль поэзии на Байкале — уже без Кобенкова — по традиции открылся большим поэтическим вечером в Иркутском академическом драматическом театре имени Н.П.Охлопкова. Зал полон. И когда слово предоставили мне — как участнику первого фестиваля, — я предложил не только вспомнить об организаторе фестиваля, но и назвать его именем фестиваль и учредить российскую литературную премию Анатолия Кобенкова, вставшего в один ряд с Юрием Левитанским и Александром Вампиловым. Через несколько дней эта инициатива превратилась в обращение к власти, и его подписали все участники фестиваля. Мы с Бахытом Кенжеевым озвучили этот текст в эфире Иркутского ТВ.

Существует ли эта премия сегодня, не берусь сказать, но фестиваль носит имя Анатолия Кобенкова.

В 2010 году состоялся «Вечер памяти Анатолия Кобенкова», который организовал писатель и историк Станислав Гольдфарб. И на вечере звучало фирменное кобенковское: *Всё уже было, а слово найдёшь — и жарко,/ Всё уже знаешь, а пишется, как во сне...*

Это было давно, а вроде бы и недавно.

В 2015 году мне довелось побывать в Македонии, в небольшом городе Струге, известном благодаря Международному поэтическому фестивалю «Стружские вечера», учреждённому в далёком 1961 году в память о родившемся в Струге основоположнике македонской поэзии Константине Миладинове. Высшая награда фестиваля — премия «Золотой венец», которой были удостоены Пабло Неруда и Уистен Хью Оден, Иосиф Бродский и Булат Окуджава, Роберт Рождественский и Махмуд Дарвиш, Шеймус Хини и Бей Дао и другие поэты.

Много выступлений, особенно на мосту через реку Дрим, а слушатели, в огромном количестве съехавшиеся со всех Балкан, сидели и стояли на набережных. Стихи звучали на разных языках, и тут же в переводах на македонский и английский.

Шёл вечер современных македонских поэтов. Разновозрастные авторы, сидевшие за столом в небольшом зале, поочерёдно выходили к микрофону и читали. Я обратил внимание на одного из них: он сидел, слегка наклонив голову влево, и явно кого-то напоминал. Но кого? Впрочем, чужая обстановка, незнакомые люди — тут легко и ошибиться, к тому же свет в зале приглушён, и лица сидевших за столом видны нечётко, лишь когда поэт выходил к микрофону, одинокий софит ярко освещал лицо и фигуру. И вот ведущий вызвал следующего выступающего, и когда тот, подойдя к микрофону, начал читать, я понял, что всё это время вижу Толю Кобенкова. Правда, одет он не как настоящий Кобенков, но подобный прикид Толя мог бы одобрить, а уж взгляд, мимика, какие-то неуловимые жесты были точь-в-точь кобенковские. Я был — как стёклышко — трезв! Повторюсь: я сидел в середине зала и, как мог, успокаивал себя — свет слабый, стоит подойти ближе и наваждение исчезнет. На то оно и наваждение, чтобы исчезать.

Вечер подходил к концу, и в качестве приза участникам предложили сухое вино. За бокалом вина я познакомился с приятной девушкой Ольгой, она знала русский.

В какой-то момент Ольга заговорила о своём муже, о том самом поэте, которого я принял за Кобенкова. Мы познакомились и вместе пошли в город-праздник. Народ гулял вдоль набережной, кафе и бары зазывали рекламой еды и выпивки. Мы ушли подальше от толпы. И пока гуляли, Ольга рассказывала о Македонии, о Скопье, а её муж молчал, постоянно как бы напоминая мне Толю, и я пару раз чуть не обратился к нему — как к Кобенкову. Мне ужасно хотелось рассказать новым знакомым об этом, но кто-то со стороны меня будто останавливал. И я понимал, что это правильно. Почему? Не знаю. Наконец мы присели в открытом кафе, и на столике появился замечательный кофе. Затем принесли лёгкие салаты и бутылку вина. Возможно, оливково-зеленоватая «Жилавка» или тёмно-рубиновый «Вранац»? Неважно. После первого бокала я заметил, как македонский Кобенков вытащил из пачки сигарету с фильтром и совсем как иркутский Кобенков щёлкнул зажигалкой (или это была спичка?) и закурил, посматривая то на реку, то на свою жену. «Сейчасили никогда!» — сказал я себе. И путано, сбивчиво рассказал всё с того момента, когда ещё мы сидели в зале... Время от времени Ольга меня обрывала, чтобы перевести мужу мою взволнованную речь. На их лицах было и замешательство, и недоверие. Они переспрашивали, уточняли, и мне даже стало стыдно. К счастью, в кафе были крохотные лампочки на деревьях и такие же свечи на столах. Я физически ощущал, что ангел сомнения то садился на ветки деревьев, то летал среди нас. Из этого состояния меня вырвал очередной жест македонского Кобенкова — и я вдруг увидел, как сибирский Кобенков прямо из македонского шагнул тенью в реку... И в это время Ольга перевела неожиданную просьбу мужа: «Прочитайте что-нибудь...» Интернет мгновенно откликнулся, и я прочитал первое попавшееся стихотворение Толи... На некоторое время воцарилось, как пишут в романах, молчание, которое мы медленно запивали вином.

Ольга отодвинула бокал и очень внятно спросила:

— А как зовут жену поэта?

И тут волна смущения накатила на меня ещё раз. Почему? Пусть лучше кто-то другой растолкует. Я — не психоаналитик.

— Ольга, — признался я.

И македонская Оля прошептала:

— Да, я так и знала.

Она попросила у мужа сигарету, объяснив мне, что вообще-то не курит, но такая минута... Ну, ещё бы! Как там у Кобенкова: *...И всё бы случилось, но девочка Оля/ споткнулась да маслице поразлила...*

Этим же вечером, точнее ночью, мы попрощались. Утром им уезжать на машине в Скопье, путь непростой и неблизкий. Они пообещали найти меня в последний день фестиваля, когда поэтические выступления будут проходить на главной площади Скопье. И действительно, в воскресенье раздался звонок, мы встретились и долго гуляли по городу вместе. Перед расставанием Ольга шепнула:

— Я посмотрела в Сети все фото и выступления Анатолия Кобенкова, — и после паузы добавила, — конечно. Похож! Хотя и не совсем...

...В Москве Анатолий Кобенков прожил чуть больше года. Мы редко встречались, чаще говорили по телефону. И как-то больше говорили о быте, точнее, о столичном бытовании, впрочем, и о стихах, и о музыке тоже. Толя, как всегда, был благожелателен и внимателен. А последняя встреча, если не ошибаюсь, была в посольстве Индии. Запомнилось, что в элегантном пиджаке Толя пришёл с женой Ольгой. Он вообще умел носить модное и как-то легко осваиваться в новой обстановке.

Хочу добавить некоторые биографические моменты.

Анатолий Иванович Кобенков — автор двенадцати книг стихов и сборника эссе, посвящённого современной литературе Сибири. С 1997 года возглавлял Иркутское отделение Союза российских писателей. Был редактором-составителем альманахов, входил в редколлегии нескольких литературных журналов. В Иркутске стихотворения Кобенкова входят в региональную школьную программу по внеклассному чтению.

Здесь можно было бы поставить точку. Можно. Но всё-таки самое ключевое — это стихи поэта:

* * *

Чего не хватало огромной стране,
когда она губы тянула ко мне? —
и угля, и стали хватало,
и хлеба — по осени, а по весне —
уценок на спички и сало.

И горя хватало у этой страны,
но каждый имел и пиджак, и штаны,
а многие — шляпу в придачу;
и было работы полно для шпаны —
и рынки, и лавки, и дачи.

И рук ей хватало, чтоб землю пахать,
чтоб фабрики строить и голосовать
за лучших в стране коммунистов,
и было за что ей сажать и стрелять
предателей и уклонистов.

Всё было у этой страны: и леса,
и реки, и степи, и бог при усах,
и барды при лесоповалах...
Ей Лемешев пел, ей Фадеев писал,
и только меня не хватало...

* * *

До чего же я жил бестолково!
Захотелось мне жить помудрей...
Вот и еду в музей Кобенкова,
в самый тихий на свете музей.

Открывайте мне дверь поскорее,
и, тихонько ключами звеня,
открывает мне сторож музея —
постаревшая мама моя.

* * *

Всё восстановлено из праха...

Михаил Кузмин

Всё, что я слышу или же недослышу,
было Бетховеном... Мнится, давным-давно
тяжеловыйный жёлудь дырявит крышу,
тяжелорукая глина дробит зерно.

Эти пробежки — к свету или обратно,
эти рожденья: звука, тоски, ростка —
вышли из смерти сына, из кельи брата,
из воркованья кладбищенского молотка;

эти раздоры бытопорядка с миро-
сопротивленьем столь тяжелы сейчас
приговоренным к кисточкам и клавирам,
так напрягают крылышки наших глаз,
что разрыдаешься: ликам мешают лица,
веку — секунда, миг заслоняет год,
и для того, чтоб высмотреть ангелицу,
взмахом ресницы смахиваешь народ...

Губернатор острова Сахалин

Евгению Чигрину

Одинокий, долгую зиму один
(коль не сбрил усы, то ещё с усами)
губернатор острова Сахалин —
самый дальний и брошенный самый-самый.

Он немножко Чехов, немножко Чук,
или Гек, а может, и Чук и Гек он,
или бледный чухонец, чей бледный чум
освящают лекарь, шаман и лектор...

Губернатор острова — это я,
бедный всадник, спешившийся с самолёта;
это Женя Чигрин и его семья,
у которой нет денег, а есть охота...

Губернатор острова — это то,
что нас ждёт к концу приуставшей жизни...
Коробок, гремящий в сыром пальто
на ступеньке, ведущей к последней тризне...

Здравствуй, бедный сенатор, не здравствуй, смерть,
здравствуй, час одиночества, не здравствуй, горе!
здравствуй бедный Евгений — хочу поспеть
на стихи, которые на заборе
Ты сложил сегодня!.. Люблю смотреть
на себя, перешагивая через море...

Вера Калмыкова

Творческие люди 24/7

Широкий читатель, зритель — насколько он широк?.. По данным ВЦИОМ, на 2022 год доля ежемесячной аудитории посетителей книжных магазинов в крупных городах составляет всего 26 % населения, посетителей библиотек — 25%, в театрах раз в год или чаще бывает треть жителей, зато в музеях и на выставках — аж 43 %¹. Но это в больших городах. По данным Росстата, в 2021 году из каждой тысячи человек по всей России музеи посетили 654², т.е. больше половины. На первом месте Санкт-Петербург, следом за ним — Севастополь (!) и Ярославская область, а Москва, между прочим, стоит на двадцатом.

Статистика красноречива. Даже если позволить себе максимум оптимизма, получается, что вторая половина населения (или чуть меньше) к традиционным культурным формам нечувствительна (на что, конечно, имеет полное право). Для таких людей *культурно провести досуг* значит выпить-закусить на травке, порыбачить, сходить по грибы, повозиться с внуками, покопаться в огороде. Выставки, публичные лекции, встречи с приглашенными знаменитостями, поэтические вечера не для них. Многие молодые родители с высшим образованием не считают нужным водить ребенка в музеи: что он там увидит, в интернете все есть, только заразу цеплять. Хорошо если под рукой бабушка-дедушка, а если нет?..

В отечественной гуманитарной среде разрушительную роль может сыграть то, что культура, как и медицина, неожиданно вошла в сферу услуг. Врачи, учителя, музейные работники — все они теперь оказывают услуги, кто врачебные, кто учебные. Однако беда в том, что слово это в русском языке носит оттенок скорее уничижительный — слишком близко к «слуге» и «услужению», а словосочетание «культурная услуга» звучит вообще дико. Ни врачевателям, ни просветителям такое именование не подходит... а отношение в народе создается уничижительное. Нехорошо. Неуважительно.

А в музеях так интересно... Идея «благоговейной музейной тишины», зародившаяся в советские годы, когда музеи должны были заменить храмы, ушла в прошлое. Сегодня мы прекрасно понимаем, что духовная жизнь может быть разнообразной, и нас это никоим образом не беспокоит, равно как и подростки, сидящие на полу в залах с бесценными полотнами, интерактивные выставки, интеллектуальные игры на фоне тысячелетних экспонатов... Требования изменились, нужно выдерживать соперничество с цифровыми досуговыми формами — по возможности со счетом хотя бы 1:1. И Третьяковка, и Эрмитаж постоянно борются за посетителя, придумывая разнообразные способы его привлечь. Но столицы и так и этак остаются туристическими. А что говорить о провинции, где сходные задачи решать значительно сложнее?..

20 мая 2023-го, Ночь музеев. По просьбе старшего научного сотрудника Выставочного зала в Орехово-Зуеве Ольги Безбородовой читаю лекцию о том, что

¹ URL: <https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/trendy-kulturnogo-dosuga-1992-2022> (дата обращения: 21.07.2023).

² URL: <https://russia.duck.consulting/maps/210> (дата обращения: 27.07.2023).

волнует меня саму. Тема сложная, «Художник — музей — зритель — ценность». Как работы художника становятся национальным достоянием, каковы принципы отбора, комплектации фондов?..

У меня в зале 30 человек — аншлаг! Две дошкольницы маются на первом ряду, им, конечно, скучно. Остальные, включая их родителей, сидят не шелохнувшись. Студенты колледжа, пенсионеры, люди моего возраста и моложе. Никто не ушел. Вот тебе и статистика.

На вернисажи приходят в среднем около 50–100 человек. Многие — пенсионеры, для которых даже ничтожная цена за входной билет ощутима.

В Орехово-Зуеве я сделала выставки художников Льва Саксонова (1929–2020), Елены Гориной (1954–2021), Веры Колгановой. Искусство, далекое от реализма в примитивном понимании. Настоящее *современное искусство*: художники, создавая неповторимые пластические формы, размышляют о человеке, его самоощущении в мире вот сейчас, в двадцатые годы XXI века. Отторжения у публики не возникло. Просили объяснить тот или иной момент — ну так что ж, я здесь как раз для этого. Иногда говорили: «Мне непонятно здесь и здесь». Я спрашивала: «А как вам цветовая гамма?» — «Приятная, нравится». — «Какие ощущения она у вас вызывает?» Человек отвечал, и дальше мы говорили о конкретном сюжете, отталкиваясь от эмоций, возникших благодаря колориту. Вывод я сделала такой: нужно вкладывать силы и время в объяснение, в разговор с каждым, кто готов стать твоим собеседником. Тогда многое получится.

Рядом с Выставочным залом — кафе, называется, понятное дело, «Вернисаж». Несколько лет назад студийный педагог Анна Куликова придумала устраивать здесь выставки детского рисунка. Раз в месяц экспозиция меняется: на стенах то балерины, то черепахи. Стационарное украшение кафе — живопись и фрески Сергея Лепешкина.

В Павловском Посаде с 2004 года более десяти лет функционировало объединение художников «Арт-ШирокOFF», в которое входили живописцы, скульпторы, фотографы, прикладники. Сначала я была куратором, потом разделила обязанности с фотографом Александром Коваленко. Каждый год мы показывали по выставке. Название типовое: «Цвет...» чего-нибудь: звука, слова, тишины, стихий и так далее. Произведения, как правило, создавались и обсуждались в течение года работы над темой, редко брались из подбора. Народу у нас бывало много, благодаря этим выставкам появились новые друзья.

...Города моего детства — Павловский Посад и Орехово-Зуево, между ними дед мой во времена оны купил дачу. Помню разбитые дороги, грязные растрескавшиеся тротуары, покосившиеся деревянные дома, поломанные заборы, на привокзальных девятиэтажках, самых высоких в городе на те поры, — громадные полинялые «Слава КПСС». В Посаде кинотеатр «Мир», он же «Вулкан», куда мы с подружкой после седьмого класса ездили смотреть индийские фильмы (здание 1915 года сломали после пожара в 2013-м). Нет-нет да и проедет неторопливая телега то с бидонами, то с баллонами. И тишина, сонная солнечная тишина, и уличные тени двигались почему-то в такт цоканью копыт медлительной гривастой лошади.

Общий вид, конечно, теперь изменился. Что ни говорите, а нормальные асфальтовые покрытия — это не только возможность продлить срок годности личного автотранспорта, но и приятный глазу вид. Поребрики, скверики, отсутствие мусора на тротуарах (ровных, между прочим) тоже, знаете ли, способствует, причем дело даже не в том, что убирают, — не сорят. Из городских цветников народ вот уже лет двадцать не таскает луковицы на личный участок. Детские площадки не используются в качестве общественных туалетов и рюмочных. Пустяки, скажете? Ой вряд ли. Одно из главных следствий девяностых: поехали россияне по европам и захотели чистоты и порядка, как там. Не то чтобы достигли идеала, но кое-какие результаты налицо. В городских парках проходят разного рода фестивали и праздники — то «Вар-варенье», то арбузный, то медовый... А то бывает еще стрит-арт или велогонки. Таким образом охватывается нечувствительная к эстетическим изыскам половина (или *меньшая часть*) населения.

Что было тридцать лет назад, я слишком хорошо помню...

До слез жаль, конечно, дореволюционную павлово-посадскую застройку. Дома «каменный низ, деревянный верх» еще удерживают позиции, но целиком деревянных становится все меньше. Они и горят, причем не обязательно по чьему-то злому умыслу (порой достаточно старой проводки, а деревянный дом, кто не знает, исчезает за 40 минут), и разбираются за ненадобностью, и перестраиваются. Надоедает владельцу красить наличники — сбивает, зашивает фасад сайдингом. Поди объясни ему, что столетнюю старину беречь надо! Станет он тебя слушать?.. Мы с мужем подобрали несколько брошенных обрамлений для окон, они ждут своего часа, пока руки дойдут законсервировать старое дерево. А в государственном масштабе ничто, видимо, не поможет, кроме общегосударственной целевой программы. Но пока до нее додумаются, да пока руки дойдут, да пока закон примут... Останется в таком городке, как Павловский Посад, деловских-праделовских деревянных домов десяток-другой.

Орехово-Зуево — город фабрик, его облик иной, чем у Посада: здесь фабричные здания, кварталы, построенные Морозовыми для рабочих, Зимний театр, проект которого некоторые энтузиасты до сих пор упорно приписывают Ф.И.Шехтелю по простой логике — где Савва Морозов, там и Фёдор Шехтель. Ан нет, архитектор — Александр Антонович Галецкий (1872–1926?), действительно работавший одно время помощником у Шехтеля. Поскольку исторически это два крупных села, центра в привычном понимании в Орехово-Зуеве нет — в плане город не напоминает древесный спил с площадью посередине.

Посмотреть есть на что: русская промышленная архитектура конца XIX—начала XX века — интереснейший феномен, отечественная вариация английского стиля, к которому тяготели первые заказчики зданий русского модерна. Во многих местах сохранились грандиозные чугунные лестницы. Увы, и фабричные, и жилые здания пребывают в неважном, мягко говоря, состоянии. Привести бы их в порядок... Нужны немалые средства, конечно.

Вот пример: рядом с выставочным залом в Павловском Посаде, знаменитым домом Широкова (по фамилии дореволюционного владельца-купца), стоит небольшое здание, в котором еще несколько лет назад размещалась стоматологическая клиника. Теперь в нем художественная галерея. После стоматологов помещение пришлось ремонтировать. Хотелось бы, конечно, большего стиливого единства с соседним купеческим особняком. «Где деньги, Зин?..»

А Орехово-Зуевский музей получил, тоже сравнительно недавно, дом инженера Владимира Николаевича Оглоблина — огромный, роскошный, напротив Выставочного зала. Оглоблин ведал на Морозовской фабрике крашением и отделкой тканей. В последние годы здесь располагался наркологический диспансер. Объем предстоящих восстановительных работ без пояснений...

Вкладывать, вкладывать и вкладывать. Заранее оставить надежды «выйти в ноль». Быть готовым к устойчиво прогрессирующему минусу. Культура вообще штука убыточная, если подразумевать под прибылью лишь движение капитала. Но если иметь в виду иные виды приращений — интеллектуальное, эмоциональное, гражданское, наконец, — вложения окупятся сторицей. Вместо денег получишь память — вид бессмертия. Как Савва Морозов, побуждавший своих рабочих играть в футбол и заниматься в театральном кружке — чтоб не пили. А сколько теперь и в моих дорогих городах, и в столицах, и по всей России кружков, студий, семинаров, летних школ!..

Могут ли оба города стать вехами туристического маршрута по Подмосковию? Тем более сегодня, когда за границу не очень-то и поедешь, а путешествовать хочется! Ответ — да, тысячу раз да. Должен появиться какой-то человек, способный взять на себя труд формирования экскурсионного маршрута, который не только вел бы от одного объекта к другому, но и проходил бы по историческому, привлекательному, интересному ландшафту. Не блочные же советские дома показывать гостям...

Как повезло Суздалью, центр которого был законсервирован уже в середине XX века. Даже Сергиев Посад не удостоился такой чести. Торжок в 1990-е начали

превращать в музей России... Хороша историческая Коломна. Мышкин, Переславль Залесский — места всем известные. Вот бы сделать так с каждым подмосковным городом, у которого есть история. И побольше рассказов, сюжетов, пиара, ёлки-палки, как его не хватает!

Павловский Посад может похвастаться, например, малоизвестным сюжетом из жизни князя Даниила Московского, сына Александра Невского и отца Ивана Калиты. Младший отпрыск героя Невской битвы получил в наследство самый что ни на есть захудалый удел. Воевать не стал. Тем, кто, устав от бесконечных войн, переходил к нему из соседних княжеств, Даниил обеспечивал вполне сносную жизнь. Стан его распалгался примерно на том месте, где сейчас музей «Княжий Двор».

У Орехово-Зуева свой сюжет, не менее интересный и исторически важный, — знаменитая Стачка (1885). С нее, как считается, началось профсоюзное движение в Европе. На самом деле она была не совсем такой, как еще с советских времен повелось описывать в школьных учебниках. Дело в том, что Морозовы — старообрядцы, да и весь здешний район преимущественно населен был староверами. И капиталы свои фабриканты получили благодаря общине, отдавшей им свои сбережения: кто как мог, вложились в морозовское дело, на те же фабрики и работать пошли. А тут промышленный кризис, правительство жмет. А Тимофей Саввич Морозов доходов хочет прежних. Ну и давай рабочих — своих же староверов-общинников — штрафовать за что ни попадя. Те и взбунтовались: уставной капитал-то их, что ж их еще и дохода лишают? Другое дело, что оказались рядом оборотистые большевики, быстро в свою сторону все повернули и народ настроили. А так бы сюжет иначе развивался...

В сентябре 2021 года мне посчастливилось делать выставку Александра Уголькова (1909–1973) из фондов Орехово-Зуевского музея. Идея директора Анны Лукиной: она захотела соединить в экспозиции две эпохи — Морозовскую стачку (графический цикл Уголькова) и современность (фотографии Сергея Иванова). Показали и историю, и людей, и здания, и быт. Эффект оказался поразительным... и да, не все изображения свидетельствовали в пользу Тимофея Саввича. При всем уважении.

Историческую память здесь чтут. Портрет Саввы Тимофеевича Морозова не сходит с орехово-зуевских транспарантов. В Павловском Посаде свои «отцы» — прежде всего Яков Иванович Лабзин (1827–1891), Василий Иванович Грязнов (1816–1869) и Давыд Иванович Широков (1790/1791–1849). Отражается на облике города и недавняя история. В Орехово-Зуеве на бронзовой скамеечке посиживает Виктор Сухоруков — тоже «забронзовелый». Памятник народному артисту, уроженцу города, открыли в 2016 году. Музыкальная школа носит имя Якова Флиера. В Павловском Посаде музеефицирован дом, где родился и вырос артист Вячеслав Тихонов (1928–2009). На доме, где провел детство поэт Олег Чухонцев, установлена мемориальная доска. Понятно, что эти имена — неизменный инфоповод для организации разного рода мероприятий.

Стоит напомнить и о мощной культурной традиции. Откуда она — в обоих случаях понятно. Павловопосадские шали как были знамениты в XIX веке, так в XXI и остались излюбленным дамским аксессуаром. Вдобавок они еще, между прочим, и теплые. А Орехово-Зуево было городом ткачей, а где ткачи, там и художники по ткани. Так что формирование серьезной местной художественной школы удивления не вызывает. Выставки художницы Ирины Ратушняк (Ратуш) собирают не то чтобы толпы (все же Дом Широкова не ГМИИ им. А.С.Пушкина), но несколько тысяч зрителей за месяц. Ирина — представитель среднего поколения — соединяет в своих работах минимализм и экспрессию, с легкостью цитирует то Ван Гога, то Сальвадора Дали, отталкивается от их находок и развивает свой стиль — легкий, ироничный, парадоксальный. Старшие мастера, патриархи — ныне здравствующие Владимир Самодеев, Николай Титов, Юрий Федоренков — демонстрируют высочайшую живописную культуру лирического русского пейзажа. Самодеев — последователь изобразительных течений 1930-х годов, его излюбленный сюжет — переходные состояния природы с их недосказанностью. Титову свойственно переносить в станковую живопись приемы миниатюры, его полотна изобилуют мельчайшими, тонко выписанными деталями.

Федоренков мощными крупными мазками лепит выразительные, монументальные формы, богатство тонов на его работах создает ощущение свежего взгляда на всем известные реалии Средней полосы... Сергей Пасин выступает и как живописец, также пейзажист, и как автор произведений художественного текстиля — ткёт гобелены, придумывая для них абстрактные, неожиданные композиции.

Для этих мастеров смотреть на утрату традиционного облика города больнее всего, ведь многое теперь осталось только на фотографиях и на их картинах. И потому их работы представляют особой интерес для молодого зрителя, получающего возможность узнать о том, как выглядели привычные улицы еще в середине XX века.

В Павловском Посаде жили братья Марковы, Александр и Павел, чьи росписи (в соавторстве с Е.Е.Лансере) украшают интерьер Казанского вокзала в Москве. Их работы сохранены наследницей, Ириной Марковой-Щибровой, и часто показываются на выставках. Обоим братьям близка эстетика реализма, основанная на любви к живописной фактуре и интересе к природным формам. А третий из братьев, Алексей, был агрономом, автором идеи сада непрерывного цветения, ландшафтным дизайнером, заложившим сады на Сухаревской и рядом с новым зданием МГУ.

Если же говорить о современности, то памятник Владимиру Маяковскому работы скульптора Николая Пустыгина (1918–1984), установленный в 1953 году в Орехово-Зуеве, реставрировал Андрей Бозин, живописец, керамист, реставратор высочайшей квалификации. Говорят, в 1940-м в местную школу приезжала выступать сестра поэта, который к тому времени был провозглашен первым среди современников. Интересно, что Пустыгин — фарфорист, работавший на Дулевской фабрике. Однако не он один в те годы проявил себя в монументальной скульптуре: мало кто знает, что среди авторов памятника Юрию Долгорукому в Москве был еще один мастер малой формы, Сергей Орлов.

И это лишь несколько имен художников, не имеющих отношения к «Платочке», то есть к Павловопосадской платочной мануфактуре. Если же говорить о мастерах, работающих для производства шалей, то здесь выбирать имена еще труднее. Злата Александровна Ольшевская (1920–2011) с ее знаменитыми сериями «Времена года» и «Русские сказки». Лидия Сергеевна Шаховская (1904–1971), превратившая шерстяные полотна в цветущие сады. Культовые фигуры. В июле 2023 года не стало Виктора Ивановича Зубрицкого, главного художника павловопосадской платочной мануфактуры, осуществившего невероятно трудную миссию — синтез традиций декора шалей и современных тенденций в прикладном искусстве. Династия Белокуров, Елена Фаворитова, Елена Жукова... Авангардные формы в сочетании с традиционными цветочными букетами и гирляндами. И снова приходится прерваться.

Сегодня платочная мануфактура — единственное предприятие такого рода в стране и мире, и руководство отлично это понимает. Возможно, этим вызвано строительство при фабрике выставочного комплекса, который откроется в обозримом будущем. Современное здание выполнено максимально близко к английской стилистике, типичной для местного фабричного строительства. Уже сейчас территория благоустроена в соответствии с заданным образцом. Будет маленький городской район в викторианском стиле... Еще одна прекрасная русская сказка о том, как побеги западной культуры приживаются на нашей почве.

Так что при желании бизнес, как и в дореволюционные времена, органично сочетается с работой во имя Просвещения.

Еще один пример — вышеупомянутый «Княжий Двор», комплекс музейных зданий, построенных по инициативе Владимира Викторовича Ковшутина, руководителя ПО «Берег» (производство противопожарного оборудования). «Княжий» — в память о Данииле Московском. Экспонатов эпохи Даниила в музее, конечно, немного, но другие времена представлены разносторонне. Коллекция собирается, как говорится, всем миром — люди несут сюда старинные вещи, тревожась за их будущую сохранность (детей нет или они равнодушны, оставить некому) или считая, что они должны стать всеобщим достоянием. Старинные предметы быта, швейные машины (вот и я

собираюсь сдать туда одну из своих...), купеческая мебель, образцы народно-декоративного искусства и бесконечный текстиль. Виктория Галактионова ведет здесь мастерклассы, а в свободное время ездит по барахолкам и пополняет советский предметный фонд. Галина Журавлёва водит экскурсии и пишет книги: недавно вышла монография о Злате Ольшевской (в соавторстве с И.К.Ушаковой).

Назвала два имени и ужаснулась: а остальные?.. Прекрасные, творческие люди.

Так что вот, пожалуйста, роль личности в культуре — на конкретных примерах. Понятно, что если бы не многолетняя кропотливая архивная работа краеведов, не было бы идеи, под которую можно возвести здания. А тут она есть — во многом благодаря Виктору Ситнову (1949–2017). Об орехово-зுவевском краеведе Александре Бирюковой ходят легенды: говорят, она может найти в архиве любую необходимую информацию, даже такую, которая считается утраченной.

Легендой еще при жизни стала и Маргарита Маркова (1947–2019), первый директор Посадского Выставочного зала. Историческое здание дома Широкова, до начала 1990-х занятое городской больницей, оказалось объектом культуры благодаря инициативе и поддержке Геннадия Архипова (1938–2012), тогдашнего главы администрации, и Николая Краснова (1948–2020), заслуженного работника культуры РФ. Больницу переселили в новое здание и деньги нашли на ремонт особняка — это в девяностые-то! Вспоминаются слова Василия Кандинского: «Тогда неминуемо приходит один из нас». Именно тогда, когда мы начинаем нуждаться в культуре.

Как ни крути, музеи в обоих городах оказываются средоточием культурных смыслов, вырастающих из горячего желания сберечь, показать, рассказать. И источником инициатив, конечно. Если раньше в городах имелись разрозненные организации (музей отдельно, выставочный зал сам по себе и т.д.), то теперь — объединенные структуры. В состав Орехово-Зувевского городского историко-краеведческого музея входят Выставочный зал и дом Оглоблина. В состав Павлово-Посадского музейно-выставочного комплекса — Историко-художественный музей, «Княжий Двор», дом-музей Тихонова, музей космонавта Валерия Быковского, выставочный зал «Дом Широкова», музей истории русского платка и шали. Последний, кстати, много лет назад создавался как частный по инициативе коллекционера Владимира Шишенина, специалиста и эксперта международного уровня. Уникальный по наполнению и содержанию музей, такого нет нигде в мире: здесь представлены предметы, аналогов которым не сыскать, и, конечно, тематическая коллекция, складывавшаяся несколько десятков лет, сопровождается весьма подробным исследовательским материалом.

Когда говоришь о работниках культуры, нужно всегда помнить пропорцию 24/7. Люди трудятся в буквальном смысле без выходных: подготовка любого мероприятия огромна. Они довольно редко бывают не заняты работой, хотя, казалось бы, чего такого?..

Тем более музейщик: это не профессия, а судьба. По поводу централизации-оптимизации в обществе сложились полярные мнения, но здесь, кажется, современная тенденция работает во благо: организационные вопросы решает дирекция, а сотрудники филиалов получают простор для творчества. От директоров требуется, конечно, очень многое... Вот Ирина Ушакова, директор посадского музейного комплекса, одновременно — модельер. Есть такой древний анекдот о еврейском портном. «— Сёма, вы-таки знаете, если бы я был королем, то жил бы лучше, чем король. — Это почему? — А я бы еще немножечко шил». Модели одежды Ушаковой из павлово-посадских шалей не раз показывались вместе с коллекциями Вячеслава Зайцева.

...Давным-давно, много лет назад... 23 года, если точно. Мы с мужем переступили порог дома Широкова и познакомились с Маргаритой Марковой. На двери выставочного зала висел колокольчик, и пока мы разговаривали, он постоянно звенел. «У нас дверь не закрывается», — с гордостью сказала Маргарита Ивановна. Люди шли сюда тогда, идут сейчас. Пусть в провинциальных музеях никогда не закрываются двери. Пусть идут сюда люди. Просвещение — это не только про новые знания. Это еще про душу, про судьбу.

Андрей Пермяков

Сибирский тракт и другие дороги

Главы из книги

Вертолёт в шампанском (Кунгур)

Дедушку Ивана Галактионовича я совсем не видел за его уходом тремя годами прежде моего рождения, а бабушку, Антонину Гурьяновну, видел мало. Умерла она, когда мне было полтора. Вроде не должен помнить, однако помню. Сейчас расскажу.

Клубы-клубы пара из двери. Сквозь клубы появляется большое. И в платке. Хотя мне, конечно, большими тогда казались все. И бабушку забыл бы: мало ли вас тут, крупненьких. Но в это время мама стояла у зеркала, примерно в трех взрослых шагах от моей кровати. А другая бабушка, Нюра, открывала дверь. Дверь от зеркала отделяла полустена нашей с мамой комнаты. Мне маму видно и бабушку тоже. Зато им друг дружку — никак. Платок на пришедшей бабушке, кстати, был клетчатым. Цветов я не помню, клетчатость помню.

Я стал одновременно тянуться к маме и бабушкам, отчего, конечно, выпал из кровати. Через довольно высокую решетку. Вернее, поверх железной решетки, на деревянный пол, крашенный в рыжее. Оттого и запомнил сей малозначимый случай. Хорошо быть ребенком. Лучше, чем взрослым, но хуже, чем тараканом. Когда взрослый падает с переворотом на спину с высоты трех своих вертикальных ростов, он ломается. А таракан остаётся цел. Дитё же занимает срединное положение меж взрослым и тараканом. Не ломается, но плачет. Его жалеют.

Потом, уже через много-много времени, может, даже не три года спустя, но три с половиною целых, мы с папой ходили в бабушкин с дедушкой дом. Бывший, конечно, их дом. Оставленный за вечным убытием хозяев. Дом, вернее, четвертинка деревянной полутораэтажки, сделался ничейным и пустым. Притом выкинуть жалко: пригодная к проживанию собственность ведь была редкостью. Вот и ходил папа, например, дрова колоть, печь топить. По дороге рассказывал:

— Вот когда дедушка с бабушкой твои жили на севере, в Гайнах, они дядю Вову и тетю Тамару возили в школу на вертолете. А я там, в Гайнах, родился.

Дядя Вова, когда шли вместе с ним, без папы, тоже рассказывал:

— Мы, когда на севере жили, в школу с Тамарой на вертолете летали, до Гайн. Юрка в этих Гайнах родился.

Андрей Пермяков (Увицкий Андрей Юрьевич) — поэт, прозаик, литературный критик. Родился в 1972 году в Кунгуре Пермской области. Окончил Пермскую государственную медицинскую академию. Кандидат медицинских наук. Работает на фармацевтическом производстве. Публиковался в журналах и альманахах «Арион», «Дружба народов», «Знамя», «Новый мир» и др. Автор книг стихов «Сплошная облачность» (2013), «Белые тепловозы» (2018) и трёх книг прозы. Лауреат Григорьевской премии (2014) и премии журнала «Новый мир» (2020). Живёт в Ярославле.

Кажется, все совпадало, но в маленькой большой моей голове не укладывалось. Совсем уж обычными были наружность и внутренность дома, где доживали дед с бабушкой. Впрочем, слово «доживали» неверное. Они мало прожили совсем. Это я, конечно, теперь понимаю. Деду рано дали пенсию, однако, бабушке не дали вообще. Или дали очень маленькую. Она ж не работала никогда. Тогда многие не работали. Не от лени. Даже не за множеством детей. Образования сильного не получилось, при вечных дедовых переездах — куда там работать?

По малости я этого не знал, но дому все-таки дивился. В Москве, Питере или даже в Перми в ходе революций *уплотняли* особняки дворян или сильно богатых купцов. В Кунгуре подобные хоромы тоже были. Но весьма немного. В них разместили учреждения, две школы и роддом. Для людей же уплотняли жилища не столь богатых купцов. Получились те же коммуналки, только без газа. С туалетами на улицах. Много где даже воды не было. Затем потихоньку вода становилась, но иное изменялось неспеша.

Запах помню. Основную часть аромата составлял несвежий войлок. Им обивали двери с несусветных времен до Московской Олимпиады. Поверх обтягивали дерматином. Его, конечно, называли дерьмантином. Не со зла — просто везде так говорили. Из подвалов тоже шел запах. И от полусырых весной и осенью постелей. От медленно крошащихся рам. От всего. Деревянные жилища пахли. Запах этот представлялся имманентным. Когда узнал это слово, понял: оно именно про тот запах.

Однако нет. Сейчас во многие из этих домиков проведено отопление; появилась горячая вода. Запах переселился в хрущевки постаревших кунгуряков. И свердловчан. И москвичей тож. Стало быть, от возраста хозяев тоже многое зависит.

Но тогда нежилое жилье на вертолет совсем не походило. Вскоре я еще предивного услышал. Пришли мы все на кладбище, кто родня. Может, Пасха. Или Девятое мая. За рулем, кажется, уже брат Витя был, ему так и так не наливали, а кто второй машиной управлял, совсем не помню. Взрослые люди начали распивать всякое и шампанское. Розовое, нечастое в те времена. Тетя Тамара говорит:

— Вот помните, как мама с отцом каждый день шампанское пили?

Некоторые из родни помнили. Старый мир в моей голове вовсе закачался. Я его себе иначе представлял. Далее стали разное вспоминать, и опять тетя Тамара сказала:

— Помните, отцу раз дали премию — на «Москвича» хватало?

«Москвич»-то даже в семидесятые был дорогой машиной. Пусть и не такой «Москвич», на какой хватало премии. Здесь старый мир уплыл из моей головы насовсем. Затем приплыл. Только через много-много лет. Из других рассказов родни, из книжек. Из всего.

Обстояло примерно так: дедушка, Иван Галактионович, молодым-премолодым сделался двадцатипятилетним. Было такое движение в коллективизацию. Собрали молодых рабочих, отправили руководить крестьянами. Жилье, кстати, отобрали — у кого было. Один из дядьев показывал наш бывший дом в Перми, откуда мобилизовали деда.

Бред, понятное дело. Городских заставили командовать сельскими. Преданность тогда, видать, ценилась лучше навыков. Деду относительно повезло: его услали в леспромхоз. Все-таки механизация, бригады и прочее. Моторы тарахтят, ломаясь. Но при этом зэки. Политические, наверное, тоже были, только не преобладали. Их вроде больше отправляли в Сибирь или Казахстан. А сюда, где Северный Урал, — социально-близких. Дед всю войну просился на войну, но его не брали. Должен ведь кто-то лес подгонять. Подгонял. Говорят, заходил раз в сутки домой, много ел, немного спал. Чего-то детям говорил, кто ближе, тут снова уходил. Высшее начальство любило запрашивать отчетность по ночам. Это мы по книжкам знаем.

Далее стало побогаче. Хозяйственный расчет или не знаю, каким словом обзывался метод. Вот тогда были премия с машину и шампанское. С шампанским, кстати, вовсе просто. На лесной север водку легально не возили. Зэкам нельзя, вербованным тоже, ВОХРа перебьется. Спирта тем более не было. Вернее, был, но... Гнать самогон начальству несолидно. Надо, конечно, только аккуратно, редулько.

Зато шампанского в магазине — пожалуйста. В городе с перебоями, но в тайге — сколько хочешь. Оно тут в минимальной популярности, навряд ли комбижира.

С вертолетом еще проще, чем с шампанским. Другого транспорта почти не существовало. Летит из райцентра вертолет, берет школьников, когда места есть. И обратно тоже. Сейчас руководители больших лесозаготовочных хозяйств тоже возят своих детей вертолетами и систематически потребляют шампанское с женами. Однако стилистические различия с периодом разгара СССР, думаю, очевидны. Скажем, та легендарная премия размером в «Москвич» была делом разовым. А сам автомобиль такой марки — в тайге неместным. Туда б вездехода. Или дрессированного шерстистого слоника. Деньги же имеют свойство утекать. Тем более в довольно вороватом государстве, склонном к неожиданным обменам наличности.

Но все-таки жаль, что закончилось это в скромной квартирке, занимавшей малый кусок очень старого дома в заречной части Кунгура. Он же правда очень старался, дедушка-то.

Между прочим, летать на вертолете страшно. Я однажды делал это. Он стоит, винты крутятся. И похож тогда вертолет не на стрекозу. На бегемота с мечами он похож. Ты когда в него идешь, кажется, будто тебе лопасть голову рубит. До этого, конечно, видел — где лопасти, а где твоя голова. Там разница по высоте метра два. Но все равно страшно. Гордыня росту прибавляет.

Красное. Съедобное. Общее. (Поволжье)

На севере, особенно в Архангельской и Вологодской областях, сохранилась традиция есть блины с солеными рыжиками. Горячий блин сворачивают в трубочку и обмакивают в соленые рыжики, приправленные растительным маслом и репчатым луком. Кроме такого способа здесь бытует и другой: блины складывают конвертиком, а внутрь кладут начинку из соленых грибов. Здесь же до сих пор пекут блинчатые пирожки...

Т.А.Воронина. Традиции в пище русских на рубеже XX—XXI веков

Один раз мой грядущий папа уже окончил техникум, а в армию еще не ушел. Полгода отработал в Тюменской области, вернее, на севере оной. Там уже неплохо копошились с нефтью. Нет, папа трудился не около углеводородов, однако, зарплата была. Потом еще работал на заводе «Точмаш» в Свердловске. И домой поехал. Привез довольно много красной рыбы и сумку портвейного вина. Чуть и минимально приняв за встречу, некоторое время трудился на кухне. Далее всех позвал за стол. Сначала была уха. Вернее, рыбный суп. Уха это все-таки из свежельвленной рыбки, наверное. Сели, поели, выпили опять. Он вторым блюдом выставил жареной рыбы.

Далее тоже нормально говорили, а когда из-за стола встали, мама (то есть грядущая бабушка моя, та, что Антонина Гурьяновна) тихонько сказала:

— Юра, ты чего-то совсем нас забыл. Этой рыбой только свиной кормят, мы нормальную едим. И вино привез... Вот смотри.

Антонина Гурьяновна поставила оловянную кружку на плитку. Плитка была горячая, от дров топилась. Портвейн закипел, покипел чуть, и стал на дне, конечно же, осадок.

— Так-то, Юра. Гляди, какую теперь дрянь пьешь! Никогда такого не пей. Надо пить, дак ты уж водку пей!

Водка у папы тоже была, даже экспортная. Он же почти совершеннолетним приехал. Или вовсе совершеннолетним. Да и продавали тогда вкусные напитки многим, без лишнего фанатизма. Про «Сигареты и папиросы — строго с шестнадцати лет» даже я помню.

Пирог из той же красной рыбы понравился сильней. Оно и понятно. Пирог был уже по современному, можно сказать, рецепту. Вернее, по неизменному с той поры.

Лучок, перебранная рыбка, картошки можно. В корке дырок натывать, дабы рыба дышала. У ней в пироге ведь жабр более нету, пускай насыщается кислородом воздуха, как все позвоночные люди.

Но Антонина Гурьяновна вновь оказалась недовольной. И то сказать: к рыбе белое вино надо! Хотя нет, разумеется. Все обстояло немножко сложнее. Белое вино, то есть водку, к пирогу, напомним, папа обеспечил. Недовольство было за сам пирог.

Для пирога ведь надобно тесто, для теста — мука, для муки — зерно. Вот про зерно в те годы и случилась беда. Не коллективизация, конечно, и не послевоенный голод, но тоже неприятности, отмеченные в книгах. Даже и в стихах. Например, у Игоря Шкляревского:

Над колхозом «Рассвет» догорает закат.
Шестьдесят третий год, недород, листопад.
День и ночь гонят скот на мясной комбинат.
На столбах и берёзах вороны кричат...

Примерно так, думаю, и происходило. Пусть не в шестьдесят третьем, а в шестьдесят четвертом, но происходило. Говорил уже: нам то время не понять. Народ уже всю сочиняет анекдоты про Терешкову, а хлеба нет. Мясо вроде, хоть и на рынках есть, задорого, а хлеба нет. Рабочим людям в столовках за тридцать копеек обед с хлебом продают, а просто так хлеба нет!

Но странности хрущевского времени это очевидный момент. О них поняли еще Брежнев с Косыгиным, частично реальность пережив. Менее очевиден другой факт. На самом деле русские пришлые люди красную рыбу на Севере долго готовили невкусно. Вернее, так: старопришлые русские люди ту рыбу готовили вкусно, а новопришлые — невкусно.

Новопришлые ж ориентировались на кухню мест, откуда сами родом. И готовили непривычную еду привычным образом. Сейчас на примере расскажу. Есть в городе Саранск ресторан «Мордовское подворье». Саранск ведь тоже столица, как Абакан. Да и премилая столица. И ресторан премилый. Рядом водоем с фонтанами. Подают в ресторане, например, медвежью лапу. Такое мордовское блюдо. Лапу делают из говяжьей печени, картошки и разного. Ни один медведь в ходе приготовления не страдает. От зависти, может, страдает, а так — не страдает.

Впрочем, лапа это, понятное дело, экзотика и национальный колорит. Там есть другие блюда, где тот колорит явлен только в названии. Скажем, «Похлебка по-мордовски». Состав такой: телятина, свинина, картофель, лук, морковь, сливочное масло, зелень. Или «Жаркое по-мордовски»: свинина, картофель, морковь, томаты черри, лук, зелень, сливочное масло, чеснок. Подают все это в невысоких чугунках, вынимаемых прямо из русской печи. Глядим состав еще раз. Чего тут специально мордовского? Точно так же и тоже в печке готовила эти вещи бабушка. Другая, не Антонина Гурьяновна, а Нюра.

Конечно, помидоров черри раньше не было. Были похожие. Порода их назвалась «Дамские пальчики». Они случались осенью, когда поспевал огород. И продолжались долго. А самые ленивые помидорки, изъятые с кустов в градусе молочной спелости, то есть почти зелеными, доспевали на газетках под кроватью, привлекая дрозophil. И двух сортов мяса редко случалось. Чаще был один, и то мороженный. Нет, не мамонт. Просто мороженный сорт мяса.

Однако в остальном — именно так. Выходит, готовила моя другая бабушка Нюра «Жаркое по-мордовски» и мордовскую же похлебку, сама не зная о том? Ерунда, конечно. Сформировалась вот такая более или менее единая кухня Среднего Поволжья. Да: коми, удмурты, татары, мордва эрзя, мордва мокша, башкиры, марийцы (эти, пожалуй, в особенности) имеют свои изюминки, черничинки и клюковки в еде. Но общий стиль един. Я б из «Мордовского подворья» не выходил. Сейчас в мире и окрестностях много заведений с именами вроде «Кухня моей бабушки». Но кухня *моей* бабушки — там. Вернее, идеал той кухни. Архетип, умно говоря. А еще в Среднем Поволжье лучшая в мире выпечка. Водка лучшая в Москве, шоколад в Швейцарии (говорят), а выпечка — в Поволжье. От наций качество пирожков не зависит, только от местности.

Ладно, оставляя сантименты, глядим меню ресторана дальше. С начала. Там закуски. И вот: красную рыбу неместного разлива (а местного-то и нет!) готовят или в образе строганины с кинзой и соусом, или в слабом посоле со свекольным соком. Свекольный сок это мордовская тема, да. А в остальном — обычный северный метод приготовления рыб.

Суп из лосося тоже есть. Однако на сливках. Ухи тройной здесь нет, а, скажем, в Сибири есть. Красные сорта рыбы в ту уху идут вторым слоем, на готовенький бульон. Так лучше. А без сливок или без начального бульона из другой рыбы — совсем не то. Вроде, мелкие нюансы приготовления, но без них блюдо выходит скучным.

Потихоньку смешавшись, народы освоили приготовление еды в некоренных для себя локациях. Но долго осваивали, о чем, собственно, и эта глава. Еще б не долго: сначала надо было выстроить Сибирский тракт и прочие дороги, затем — работы навалилось. А деликатесы стали перенимать уже позднее, чуть расслабившись. Так часто бывает.

Собственно через Ы (Черезы)

Том «Военно-статистическое обозрение о Вятской губернии» составлял поручик Коведяев. Хорошо так составлял. Не хуже некоторых капитанов Генерального штаба. В целом качественно, без рвения и блеска, но порой достигая высот истинно поэтических. О тутошнем ходе Сибирского тракта поручик сказал, дескать, он: «...Уг. Малмыжа спускается в болотистую долину р. Шошма притока р. Вятки с правой стороны. Разлив этой реки иногда бывает так силен и продолжителен, что постоянно устраиваемый на ней мост на сваях сносится быстрым течением воды, и переправа производится на двух форменных паромах... Паромная переправа через р. Вятку весьма затруднительна, так что при сильном ветре с 15 апреля по 25 мая и даже до июня она не производится по нескольку дней сряду; случается также, что паром, захваченный ветром, останавливается в кустарниках на 3 дня и более».

Сейчас ровно это время года. Только парома не стало, на его месте — понтонный мост близ села Гоньба. Вроде частный, вроде платный, но вроде не слишком дорогой. Только его вроде нет. Нам так буфетчица сказала, подававшая солянку. Дескать, погода неустойчивая, лед идет. Рекомендовала у водителей спросить. Предупредила о грунтовой дороге и местами — щебенке.

Мы вообще-то и так в дороге спрашивали. Но получали ответы уклончивые. Меж тем завершился третий час пополудни. Май, еще долго будет светло. Но отправимся мы сейчас в Малмыж, переправы не обнаружим, станем возвращаться, похожие на отступающих французов. Потеряем не менее трех часов. И дальше куда?

Словом, ретировались. Ушли от Сибирского тракта на север, где Киров. Вятка то есть. Сейчас, конечно, все кажется иным и очень ясным. Машины же в сторону Малмыжа шли? Шли. А куда им там идти? На пути сплошные деревеньки, крупного ничего. Значит, переправили б нас рано или поздно. Но это сейчас так кажется. Я ведь еще и за Лену Шарафиеву переживал. А она не переживала. И тут не переживала, хоть машин и не было предолго, а до Кирова 270 километров, и в селе Рыбная Ватага не переживала, куда нас свез первый лесовозчик, и даже в большом поселке Нема, куда второй лесовозчик свез. Он, кстати, сочувствовал: вряд ли, говорил, уедете. Вечер уже, все спят.

Елена стоит, вертится, про музыку болтает. Удивляется — чего я вдруг таких хороших групп не знаю? Дремучий, говорит. А я вовсе не дремучий. И лес вокруг не дремучий. Он чуть южнее дремучий, на тайгу похожий. Тут же, где до Кирова меньше 150 по прямой и русские живут давно, лес обращен в перелески. Прямо здесь, чуть перекрестка, где мы стоим, будто линию провели. Чик — и тайга стала реденькими борами.

Однако поселок в самом деле именуется Нема и машин тут столько же. Затем остановилась девяточка. Лада такая. В ней местные парнишки устраивают гонки. Оттого девятка бита, тарыхтит. Но едет. Они нас больше половины этой Немы провезли. Сказали:

— «Форд» видите? Ну, как газелька который? Он за тыщу триста рублей в Киров ездит.

Нам стало грустно. А потом весело. Нас отсюда быстро, даром подобрали. Без всяких тыщу триста. Хоть тут и центр поселка. Хоть и берег довольно красивого пруда. Но везли медленно. Это ремонтники. Они ехали спать, а с утра ремонтировать кабель.

Высадили нас в довольно чистом поле. Сами вправо отвернули, где указатель на Богородское. Внизу под нами село или большая деревня. Наверное, село — раз церковь. Солнышко уже почти спряталось. Холодно, тихо, романтично, неприятно. Перспективы мрачны. Тут Лена говорит:

— А! Ясно, почему мы так едем! Смотри на указатель.

В сумерках надпись черным на белом видно совсем хорошо. И гласит та надпись: Черезы. Это деревня так называется. Все-таки деревня, хоть и при храме. Вот и ехали мы целый день через Ы. Опять-таки: спешить было некуда. Побывали в местах, куда вряд ли еще... Болтали весело. Чуть загорели по солнышку и холодку. Для того ж и ездим, а не скорости ради. Тем более финалом дня стали две хорошие машины и три хороших человека.

Первые два были хорошими и немножко обыкновенными. Муж с женой, молодые совсем, ходили на встречу одноклассников в родном Кирово-Чепецке. Со школы то есть вместе. А потом вот за многие версты повезли бабушку другого одноклассника. Больше некому было. Трезвые совсем. Но это поправимо: встреча-то явно в самом разгаре. Хотя опять глупо шучу. Непьющих людей издаля видать. Нам, кто пьющие.

Третий же человек и его машина были необыкновенны вовсе. У отворота на Кирово-Чепецк, где ребята нас оставили, мы оказались не слишком поздно, однако, в полной темноте. Отсюда до Нововятского района два километра, а до вокзала — полных двадцать. Мы уже готовы были денежку платить. Это не по правилам, зато быстрее. Но обошлось.

Остановился прегромадный джип. Ладно, не стану врать. Просто большой. Марки не разглядел, фары в лицо. И Лена не разглядела, ей было холодно. За рулем сидел маломерный для такой машины охотник. Ездил стрелять вальдшнепов, но оных не обнаружил. А прочую птицу ему жалко стало. Вот и ехал сам собою в этот Нововятский район. Мы его просили до остановки подбросить, а он нас к вокзалу увез.

— Чего вам ночью-то шарашиться в чужом городе?

Байки охотничьи с ним в дороге гнали. Я врал, он, кажется, нет. Или тоже врал. Но ведь и это ничего. Вопрос оплаты поднят не был.

Далее еще был маленький ужас, когда машинка для продажи билетов рассорилась с моей банковской картой, отказавшись ее принимать. Но банкомат все исправил. Впрочем, это уже мелочи совсем. Затем — две плацкартных верхних полки и скоро Нижний Новгород.

Там были сашими, пирожковая «Очаг» и Вова с Денисом. И подружки Лены. И дождь со снегом. Угу. Девятого мая. И ладно, вольно им — дождю со снегом. Зато мы о русалках¹ много говорили. Особо и не ввали. Так не соврешь. У Вовы кабинет теперь в Кремле. Пока в нижегородском.

Лена, кстати, потом говорила, будто очень боялась в этой дороге и сильно устала. Но я не верю. Она иначе выглядела.

Бельские-Вольские-Шуйские (Кинешма)

Вокзал тут занятный. Верней — оба вокзала. Старый и новый. Старый теперь работает автовокзалом, а новый чего-то пустоват. Зато после него кончается дорога. Это в столице на большей части вокзалов — монументальные тупики из крашенного в цвет РЖД бетона. Тут же много проще. Направо уходит ветка, а прямо — рельсы упираются в символические деревья черно-белого раскрасу. Поезд захочет — легко

¹ Русалки пели в чуть другой главе.

их снесет. Но поезд не хочет. Это не крах новых времен, так было всегда. Кинешемская железнодорожная ветка изначально была тупиковой. Хотя раньше — оживленной тупиковой, а нынче — просто тупиковой, факт.

Но мы идем дальше. Вдоль Музея военной техники. Он расположен перед входом в парк 35-летия Победы. Состоит музей из танчиков и самолета Александр Пушкин. Танчики очень разнообразны, среди них есть собственно танчики и самоходные орудия. Я их не различаю. Папа танкист был, а я танчики не различаю. Впрочем, папа в иммунобиологических препаратах тож не слишком. Я хоть знаю: у танка башня крутится, а у самоходки — нет. Кроме того, все подписано.

А самолет от танчика я отличу. На самолете написано «Александр Пушкин». Могли б написать «Пушкин АС» и получилось бы смешней. Но так делать нельзя. Это специальный самолет, деньги на его постройку собрал писатель Новиков. В Отечественную войну, ясное дело.

Центральная улица Горького тихонько идет вниз, к Волге. И я по ней тихонько иду, замечая разное. Например, часть домов тут старые и хорошие, часть старые и разрушенные, а часть — новые. Один к другому жмутся под странными углами: город-то вправду неровный. Важный нюанс: почти ни в одном дворе нет сколь-нибудь крупных фруктовых деревьев. И огородики унылы. Это хорошо. Стало быть, земля тут *не родит*, и соблазна к ее возделыванию станет меньше. Можно рыбку ловить, фрилансить. Всяко еще безобразничать.

Уже намечтав открытие собственного магазина, узрел престранное. Тоже магазин, но иной. Здание, по рождению явно бывшее купеческим лабазом, содержало надпись: «Всё для бани. Зубило». Слова «Все для бани» выложены полукругом, а «Зубило» — ровненько, чуть пониже. Сначала думал, к чему зубило в бане, а позже — откуда такая надпись, выложенная очень надежным кирпичом?

Нет, все несложно. Зубило в бане ни к чему. Просто существовал банный магазин. Хозяин думал — на века. Содеял кирпичом вывеску. А оказалось — не на века. Пришлось добавлять надпись «Зубило». Но это ничего. Я вот уже к Волге пришел. Точней, к часовенке, откуда Волгу заметно. Часовенка квадратная, в зеленом колпачке.

Расположена часовенка на площади Революции, однако, названа Крестовоздвиженской, а посвящена вообще ополчению Фёдора Боборыкина, воевавшего тут с поляками. Наши, уступая числом вдесятеро, проиграли, Боборыкин умер, но памятник стоит по делу: событие ж происходило в 1609 году, задолго до Минина и Пожарского. Боборыкину и еще один памятник есть. Конный, большой и возникает неожиданно. Тут вообще памятники имеют тенденцию выскакивать. Идешь, а с противной стороны улицы — маршал Василевский. Он учился в Кинешме. Или совсем возле тротуара — маленький черный памятник ребятам, погибшим в Афганистане. А в одном из дворов центральной части Волька-ибн-Алёша обнимаются с Хоттабычем. Крашенные, облезлые, похожие на мягкие игрушки, пережившие два с небольшим поколения дружной семьи.

И площадь Революции необычна. Площади ж напоминают сковородки. В Костроме Сусанинскую так называют почти официально: Сковородкою. Интересная такая сковородка о семи ручках-улицах. Но тутошняя площадь на сковородку не похожа. А похожа на дно казана. Она в разные стороны выгнутая. К Волге прямая, а в стороны — выгнутая. Это красиво, необычно и Троицкий собор с Успенским собором нависают художественно.

Ну, вот. Прошелся чуть по набережной, глянул сильно издаля на автомобильный мост, где завершилось действие повести «Овсянки», придуманной Денисом Осокиным. Глянул на закрытые плавучие кафе-гостиницы. Еще раз прогулялся по набережной. Хорошая набережная.

Только все еще семи утра нет. Даже рынок закрыт. Зато подле упомянутой часовенки дремала машинка «Рено Logan». И таксист в ней дремал. Постучал аккуратно в окошко, отворил потихоньку калитку. Спросил показать город в целях возможного обретения жилья.

И это было отлично. Небольшой город водитель показал мне за сорок минут и двести рублей. Хотя все чуть не так. Прежде всего, город хотя бы длинный. Двадцать пять километров вдоль Волги. Но центр вправду маленький, расположенный

на полуостровке, образованном заливами рек Кинешемка и Казоха. В центре жить, понятное дело, неправильно. Здесь дороговизна и туристы.

Правильно жить в микрорайоне Красная ветка.

— Вот смотри. Тут частный сектор нормальный. Есть дома под снос, есть где можно сразу въезжать, потом переделаешь. А вот это Чкаловский. Тоже нормально. Тут смотри — малоэтажная застройка, новые дома. У них в квартирах автономка. Ну, регулируется вода, отопление — газ. Ориентир — ресторан «Капитан». Его все знают.

— А в центре? Ну, вот теплоходики где стоят?

— Говорю ж: в центре для туристов. Наши все сюда ходят. Интеллигентное место. Еще нормальный район у нас — Санта-Барбара. Но там многоэтажки. Зачем тебе многоэтажки? А всякие Электроконтакт, Вторая Фабрика, Автоагрегат — их будут хвалить, но ты не слушай. Автоагрегат — так вообще криминал. Озерки, Сокольники — тоже так себе. И АЗЛК.

— Сокольники ж хорошие?

— Это они в Москве хорошие. Хотя Нижние Сокольники нормально так, да. Но дорого. Там пляж, правда.

— На Волге?

— Не. На Волге никто не купается. На Кинешемке. Главное, смотри: вот тут — городской коллектор.

— В центре?

— В центре. И всё, что ниже Красной ветки, считай, ниже коллектора. Но пляж нормальный, он не в акватории, так сказать.

Пляж действительно оказался пустым по утру апреля и милым. Дома подле него выглядели respectable, как английские бульдожки. И центр города тож выглядел. Здесь сразу два театра: большой драматургический и ТЮЗ. Я обзавидовался. В родном Кунгуре, размером чуть же меньше Кинешмы, до сих пор театр существует едва ли наполовинку. Народный театр в бывшем районном Доме культуры. Молодежный такой. А в Кинешме все серьезно. Это, наверное, от близости Костромы с Ярославлем. Там, например, Фёдор Волков работал. И драматург Островский.

Или дело в купцах. Кунгур же сугубо купеческий, задумчивый, прижимистый. Хоть и на бойком месте. Но Кинешма тож на бойком, а жаловали ее с Иоанна Грозного разным дворянам. Да, тем самым: Бельским-Вольским-Шуйским. Облагородили все надолго.

И вообще: долго ли я еще буду города в кунгурах измерять? Волге хорошо, Волгу в речках сылвах не измеришь даже тут, где верховья. Зато краеведческий музей Кинешмы расположен в богадельне, а наш, кунгурский — в доме воеводы. Там Радищев на этапе под арестом сидел. Нашли земляки, чем гордиться.

Ресторанчики в дебаркадерах не спешили открываться за ранним-ранним утром, общеположительное впечатление о городе и возможности жительство тут сформировалось. Я пошел к автовокзалу вдоль разных мест и, например, кинотеатра, ставшего торговым центром.

Всякое наблюдал. Уважаемый таксист рассказал, будто тут почти все фабрики закрылись, а швейные совсем закрылись. Возможно. Однако на крупном здании чуть менее крупная надпись: «Требуются швеи и закройщицы». Швеи — ладно, так сложилось. На этой должности от века работают дамы. Но отчего ж «закройщицы», а не «закройщики»? У меня вот двоюродный дедушка с послевоенной закройщиком был. Шил сам на заказ. Нормально жили.

Еще разные объявления я видел про «Требуются на работу». Правда, зарплаты не указаны, либо весьма скромны. Но мы ж еще не переезжаем, мы думаем.

Премилое тож видел, направляясь. Две дамы эффектно выгуливали собак. Не бульдожек, правда. Одна — золотистого ретривера, другая — неизвестную марку. Общались меж собою не хуже чеховских героинь. Неспешно так. Обсуждали театральную постановку и вечерний поход в баню.

Я удачно заехал, факт. В сентябре, в начале октября у нас все города красивы, даже Южа. А в марте — самый Питер страшноват. Теперь же, в дни перехода апреля в май, впечатление должно быть верным, объективным.

Город, кино. Город-кино (Юрьевец)

Честно говоря, уже и в середине XIX века Юрьевец собою не блистал. Любимая книжка «Военно-статистическое обозрение Империи» сообщает:

Г. Юрьевец Новолгский основан великим князем Владимирским Георгием Всеволодовичем в 1228 г.; расположен по берегу р. Волги в прямой линии, около 4 верст длины, примыкая по всей линии к высоким горам, на которых находятся две церкви.

Город в настоящее время имеет 17 церквей, 5 домов каменных, 424 деревянных, 55 лавок, 1 кожевенный и 1 пильный заводы и 2396 жителей.

В черте города на горе близ Нижегородского почтового тракта сохранились остатки вала, рва и основания каменных башен, весьма недавно разобранных для постройки каменных зданий; крепостца эта или городок построена в 1661 году по указу царя Алексея Михайловича, имеет в окружности 988 сажений, 5 каменных башен и внутри 2 пруда, и составляла, вероятно, один из наблюдательных постов, находящихся на Волге.

Начиналось же все действительно хорошо. И очень давно. Юрьевец основал Юрий, конечно. Однако назвал Георгиевском. Это ж одинаковое имя: Юрий и Георгий. Но и Юрьевцем тоже назвал. Юрьевцем-Повольским, то есть стоящим на Волге. Это дабы не путать с другими Юрьевыми и Юрьевцами. Ближним сравнительно Юрьевом-Польским, более дальним Юрьевом-Ливонским, обзываемым ныне Тарту, и, скажем, Юрьевом-Поднепровским. Вернее, назвал-то князь город тоже Юрьевым, но за невеличием тот обрел уменьшительный суффикс.

Про Юрия Всеволодовича, основателя Юрьевца, говорят разное. Чаще даже плохое. В молодые годы он, мальчик из хорошей семьи — сын Всеволода Большое Гнездо, внук Юрия Долгорукого — сцепился с братом Константином за Великое княжение. Костя привел новгородцев, победил в Липецкой битве и отправил младшего командовать городом Городцом. Вроде и не обидно, вроде и опыта тот набрался, но десяти тысяч подробно упомянутых воинов, павших в Липецкой битве под городом-тезкой, под Юрьевом-Польским, уже было не вернуть. Сколько еще от ран умерло, сколько воевать зареклось и детям заповедало...

Дальше Юрий Всеволодович, кажется, делал все правильно. Обустроил вот Юрьевец, сделал его опорным пунктом для борьбы с булгарами. Победил их раза четыре. Затем в Юрьевец же принимал болгарских беженцев. Но было поздно. Шла Орда. Пришла. Сначала в Булгарию, затем дальше. В Юрьевец тоже. Тут бы пригодились павшие в Липецкой битве и дети их, потомственные витязи, но такое обычно бывает в сказках.

Кстати, названия около Юрьевца, вроде: Татариново, Булатово или Скуратиха — не от тех времен. Они, наоборот: от Ивана III и даже Ивана Грозного, раздававших в этих местах земли татарам-союзникам. В годы этих правителей Орда уже почти финишировала.

Далее жизнь происходила обыкновенно, а в Смутное время опять начался героизм. Про тот героизм есть разные легенды. Хорошо вроде бы воевал со своим отрядом носитель смешного прозвища Григорий Лапша, житель маленькой Решмы. Но, честно говоря, это была партизанщина и арьергардные бои. Всерьез поляков выгнали Минин с Пожарским. Они здесь тоже бывали.

Засим вновь сделалось ровно. Впрочем, про такие ровные жизни можно фильмы снимать. Напомню: протопопы Аввакума тут били. И крепость строили. Район, где та крепость была, до сих пор зовут «Белый город». Там красиво. Но с высот *гусударственных* тут не происходило ничего. Крепость тоже оказалась бессмысленной: больше Юрьевец не атаковали.

Чуть веселее стало уже во времена поручика, составлявшего «Обозрение». Бурлаки, затем пароходики. Свой пивзавод. Теперь его, конечно, нет. И мукомольный завод был. Там производство налаживал ирландец Артур Роу. Прижил в законном браке сына Александра. Фильмы Александра Роу все детство мне показывала Валентина Леонтьева через передачу «В гостях у сказки». Это были хорошие фильмы, я потом сообразил. А в детстве это были просто фильмы. За неимением других

и видеомagneтофона. Про интернет уж вовсе смолчим. Его тогда не существовало, не предполагалось и даже не хотелось.

Кстати, работал Артур Роу на купца и промышленника Александра Веснина. Этот Александр с женою родили подряд трех сыновей, тоже Весниных. Назло сказкам, все трое оказались умными, даже Леонид. Выросли архитекторами. Кто живет в Нижнем Новгороде, тот знает полукруглый и голубой дом бывшей конторы пароходного общества «Волга». Там сейчас медицинский институт. Их работа, братская. Позже они сделались конструктивистами, и в Москве строили уже на конструктивистском диалекте. Мосторг на Красной Пресне учинили, например. Но это дело третье. Они, кажется, в юные годы создали Павликов дом. Документов нет, только больно уж дом отличается от прочих строений Юрьевца, по-своему тоже милых. Там, в доме, при коммунистах был детский сад. А потом ничего не было.

Говорят, будто в Юрьевце все не очень сложилось за причину железной дороги. Вернее — ее отсутствия. Не знаю. В Плесе тоже станции нет, а он не бедствует.

Утопили город в меру. Из весьма ценного водой был скрыт Кривоезерский монастырь. Он сохранился на картинах Левитана «Вечерний звон» и «Тихая обитель». Там видно, сколь Волга была в те годы незначительной. Особенно заметно по «Тихой обители», где самодельный мост похож на блеклую гусеницу с лапками. Монастырь располагался на левом берегу, против Юрьевца. А к моменту затопления обитель побывала уже островком ГУЛАГа, правлением совхоза и разным. В общем, благодати там поубавилось. Но все равно, понятное дело, жаль.

В музей Александра Роу меня не пустили — выходной же. И в краеведческий не пустили, тоже выходной. И по той же причине не пустили в музей Весниных. И на колокольню не пустили. Весна определенно не задалась. Только церковь дали посмотреть, расположенную в первом этаже колокольни. Хорошая церковь.

Тут все церкви хорошие, их много. Перечислять и описывать не стану: приезжайте, смотрите. Но два храма очень приметны. Один маленький, желтый, похожий цветом на Павликов дом. Его французы строили. После войны 12-го года. Я думал, они только далеко на севере, за Великим Устьем строили, а они, получается, молодцы. Второй храм, непохожий, деревянный и темный, стоит на горе. Весь в лесах. Не в еловых, но в строительных. Думал, будто это декорации к фильму, однако, нет. Вправду человек церковь строил. И не достроил. Средства, наверно, иссякли. Размахнулся.

А в музей Тарковского меня пустили. Это маленький музей. Но в нем есть кинозал. Только фильма мне не показали. Музей состоит из вещей «времен Тарковского». Хотя принадлежал дом отчиму матери режиссера. Не весь дом, а две комнаты. Странно: домик-то сам крохотный. Хижину кума Тыквы в мультике видели? Ну, вот. Зато портфель Тарковского настоящий. Он с ним в школу ходил. Тарковский же не здесь родился, а напротив. В смысле, через Волгу, в селе с толкиеновским именем Завражье. Туда из Юрьевца ходит паром. Только в силу повышенной Волги он не ходил.

Глядел я на портфель, на черный, ненатуральной кожи, третий будто наждачной шкуркой портфель, и стало мне малое озарение. Только здесь нужна краткая предыстория.

Это было чуть позже, чем «В гостях у сказки». В 1987-м, наверное, году. Центральное телевидение стало показывать Тарковского. Много и подряд. Всего почти. Видеомagneтофоны тогда уже были, но люди записывали на кассеты другое. Поскольку слаб человек. Словом, все у телевизора сидели и Тарковского глядели. Мне больше прочего понравился «Сталкер», конечно, на втором месте был «Андрей Рублёв», затем поздние фильмы. Но они всем нравятся, кто Тарковского любит. А вот «Солярис» не понравился абсолютно.

За утекшее время «Андрей Рублёв» не сказать, разонравился, но про историю я стал знать больше. Там... Впрочем, большая слишком тема, серьезная и опять в сторону. Зато, глядя на портфель грядущего режиссера, я сообразил: Солярис мил тем, у кого обильное бессознательное и кто готов найти в собственном бессознательном дивное. А кто чует опасность даже там, где опасности нет, — такие любят «Сталкера». Я такой.

PROVINCES: GROWTH POINTS

Poetry

Poets from provinces is not the same as provincial poets. Each of them has his or her own relationships with the “place of residence”, time and space. In this issue Dmitrij Rumyantzev from Omsk, Denis Kolchin from Ekaterinburg, Dmitrij Vilkov and Evgenij Erastov from Nizhniy Novgorod, Olga Shilova from Meschovsk are discussing, sharing their discoveries, observing, stating, wondering...

Under the heading “Poet about Poet” Evgenij Chigrin is recollecting the excellent Siberian, Far Eastern and Moscow poet Anatolij Kobenkov (1948 – 2006).

Recently the Festival of the Theaters of Small Towns has powerfully declared itself in the cultural life of the country. The author of our “Game Rules” column Boris Minaev holds discourse with the theater critic Oleg Loevskij about the prizes, the attention of critics, guest performances in the capital, the twenty-year-old history of the Festival, its creative tasks and problems, about producers, actors and spectators.

“The people close to me are residents of the outskirts and settlements who are preserved, frosted in time, in their worlds...” – “Both San-Marko and the Dam are created not for the routine, but for pushing out of it...” – “There are moments in the county life when it’s just necessary to drive one hundred twenty kilometers to get to a theater...” The participants of this round table by correspondence, writers living in “non-capital” Russia, are telling about their places of power and geniuses loci of these places.

Meditating on the notions of province and provincialism on the material of today’s literature Olga Balla comes to the conviction: “Here in the centers – the history, there, in provinces – metaphysics. And the deeper the province is the closer it is to eternity”.

Written in the genre of travel stories chapters from the book by Andrey Permyakov “The Siberian Tract and Other Roads” are interesting not only for the vast geography and historical-cultural digressions, but also for the life-stories of the famous compatriots and random traveling companions of the author.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Журнал «Дружба народов»

можно выписывать с любого месяца во всех отделениях Почты России.

Подписной индекс в каталоге «ГАЗЕТЫ. ЖУРНАЛЫ» — **70250**

Подписной индекс в зеленом каталоге «ПРЕССА РОССИИ» — **91826**

Электронную версию «ДН» можно купить на <http://дружбанародов.com>

Журнал продается в московских магазинах:

«Фаланстер» (Москва, ул. Тверская, 17, вход с Малого Гнездииковского переулка)

«Бункер» (Покровка, 17; ежедневно с 12 до 22)

Также журнал можно приобрести через интернет-магазин Лабиринт.ру в любом городе страны.

Вёрстка: Елена ЖИРНОВА

Корректурa: Елена ЛАПШИНА

Дизайн обложки: Степан ЛУКЪЯНОВ

ИЗДАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНО ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО ФОНДА ГУМАНИТАРНОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ СНГ
И ФОНДА «РУССКИЙ МИР»



**ДРУЖБА
НАРОДОВ**

**ДРУЖБА
НАРОДОВ**
АЛЪМАНАХ
ДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1953

**Дружба
народов** 12
1978

**Дружба
народов**
12
1978

**ДРУЖБА
НАРОДОВ**
12
1968

**Дружба
народов** 12
1968

**Дружба
народов** 12
1968

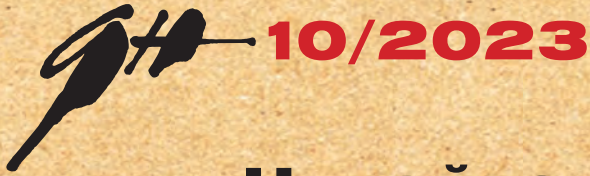
**Дружба
народов** 86
1986

**Дружба
народов**

**ДРУЖБА
НАРОДОВ**
1
1935

ДРУЖБА НАРОДОВ
5192

**Дружба
народов**
1/2018



Читайте:

Александр Зайцев. «Локус церулеус».
Повесть.

«— Значит, смотри. Мы знаем, что денег нет. Но нельзя у Сергея Юрьевича позаимствовать двадцать косарей и просто не вернуть. — На секунду он выходит из себя: — Это же обман!

Молчит.

— Снимай кофту.

Снимаю.

— Ложись.

Стекаю на пол.

— На живот.

Меньшой наваливается, прижимает руки.

— Вот смотри, — говорит он меньшому. — Ожоги бывают четырёх степеней, по нарастанию. Четвёртая нам не нужна — там происходит полное разрушение кожи, мышц и костей. По сути, обугливание. Вторая степень — слишком мало. А вот третья А или Б — в самый раз. Поражаются все слои кожи и подкожно-жировой клетчатки. Формируются кровянистые пузыри и сморщенный струп.

Он ставит мне утюг на левую половину спины, я взываю. Держит.

— Ещё чуть-чуть, — говорит. Трогает пальцем. —

Готово. — Ставит утюг на правую половину, и я, наконец, вижу речку, солнце за деревьями и тень. Мы с папой приехали на опушку леса на холме, — вот две колеи просёлочной дороги, мелкая широкая речка с каменистым руслом, папа достаёт из багажника удочку. Я захожу в тень, выбираю заводь не глубже колена — она удобная, как каменная ванна, — ложусь в неё и после жары чувствую, как спину охлаждают прохладные струи...»

